

КОНТРАКТ



Анна Лошерье

18+

18+

Анна Лошерье

Контракт

«Автор»

2026

Лошерьё А.

Контракт / А. Лошерьё — «Автор», 2026

Алиса Корсакова поклялась никогда не возвращаться в Каменноборск. Семь лет назад она уехала отсюда среди ночи, не оставив ни записки, ни объяснения, — и оставила за спиной не только город, но и парня, который верил, что она его навсегда. Теперь она едет обратно по единственной причине, способной перебороть стыд: отцовский завод «Корсаков-Стекло», полвека державший на плаву половину города, на грани враждебного поглощения. Отец перенёс инфаркт, мать в панике, а холдинг-хищник скупает долги завода с методичностью, в которой Алиса чувствует не бизнес, а охоту.

© Лошерьё А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Конец ознакомительного фрагмента.	44

Контракт

Глава

КОНТРАКТ

Современный любовный роман

Анна Лошерье

Содержание

Глава 1. Алиса

«Возвращение»

Каменноборск встретил меня запахом, который я узнала бы с закрытыми глазами даже спустя сто лет: горячее стекло, речная сырость и что-то горьковато-минеральное, чем здесь пахнет сам воздух у завода. Семь лет я убеждала себя, что забыла этот запах. Семь лет в столице, где пахнет кофе навынос, мокрым асфальтом и чужими амбициями, я говорила себе, что Каменноборска для меня больше не существует.

Хватило одного вдоха на привокзальной площади, чтобы понять, как я врала.

— Такси, девушка? — окликнул мужик у старой «Волги», и я мотнула головой.

Идти было недалеко. Я катила за собой чемодан по разбитому тротуару, мимо аптеки, которая раньше была булочной, мимо памятника, у которого мы когда-то целовались, мимо всего, что я так старательно вычеркнула. Колёсики чемодана подпрыгивали на стыках плит, и каждый стук отдавался у меня в висках, как маленький приговор.

Город не изменился — и в этом было что-то почти оскорбительное. Я-то изменилась. Я уехала отсюда девчонкой с одним чемоданом и разбитым сердцем, а вернулась женщиной в костюме за приличные деньги, с визитками, на которых стояла должность, которую в Каменноборске никто бы не выговорил с первого раза. Я думала, что переросла этот город, что он останется в прошлом маленькой выцветшей фотографией. А он стоял вокруг меня, живой, обшарпанный, упрямый, и узнавал меня каждой трещиной в асфальте.

Вот скамейка у фонтана, на которой я в шестнадцать читала учебник по экономике и мечтала уехать. Вот витрина бывшего «Промтоварного», где теперь продавали телефоны и чехлы с блёстками. Вот переулок, в который лучше было не сворачивать, потому что там, в конце, начиналась дорога к реке, а у реки был старый склад за третьим цехом, а на этом складе — я отвернулась так резко, что чемодан вильнул и чуть не опрокинулся.

Не сегодня. О складе я думать не буду. О реке, о высокой траве, о том лете — не буду. Я ехала спасать отца и завод, а не копаться в руинах, которые сама же когда-то и устроила.

— Девушка, заблудились? — спросила старушка с авоськой, и я поняла, что стою посреди тротуара, вцепившись в ручку чемодана, и смотрю в переулок невидящими глазами.

— Нет, — сказала я. — Спасибо. Я как раз туда, куда надо.

Это была неправда, конечно. Я давно не знала, куда мне надо.

Звонок матери я приняла два дня назад в семь утра. Я помню всё: как стояла на кухне своей съёмной квартиры, босиком на холодном полу, с чашкой в руке, и как чашка вдруг стала невыносимо тяжёлой.

«Алиса. Папа в больнице. Инфаркт. И... — голос матери дрогнул, переломился пополам. — И завод, Алиса. Они забирают завод».

Я не спросила «кто они». Я просто сказала, что приеду. Потому что есть вещи, от которых нельзя убежать дважды.

Странно, как работает память. Семь лет я строила между собой и этим городом стену толщиной в континент. Я не отвечала на письма матери дольше, чем следовало. Я не приезжала ни на Новый год, ни на дни рождения, отговариваясь работой — а работа у меня всегда находилась, я об этом заботилась. Я научилась говорить «мой родной город» с лёгкой, ничего не значащей улыбкой, как говорят о чём-то, что давно перестало болеть. И за две секунды, за одно слово «папа» и одно слово «инфаркт», вся эта стена осыпалась, будто её и не было.

Я стояла тем утром посреди своей съёмной квартиры — красивой, безличной, с видом на чужие окна — и понимала с тошнотворной ясностью, что бежала все эти годы не от города. От себя. А от себя, как известно, не убегают.

Я взяла отпуск за свой счёт, не объясняя причин. Начальник посмотрел на меня поверх очков и спросил, всё ли в порядке. «Семейные обстоятельства», — сказала я, и это прозвучало так чужеродно в моих устах, что мы оба сделали вид, что не заметили.

Родительский дом стоял на улице Заречной, последний в ряду, с покосившейся калиткой и яблоней, которая выросла раза в два с тех пор, как я уехала. Мать открыла мне дверь раньше, чем я успела постучать, — наверное, ждала у окна, — и в первую секунду я её не узнала. Она постарела на двадцать лет, не на семь.

— Девочка моя, — выдохнула она и обняла меня так, будто я могла снова исчезнуть, если она ослабит руки.

От неё пахло валокордином и тестом. Я уткнулась лицом ей в плечо и впервые за два дня позволила себе закрыть глаза.

— Как папа? — спросила я в её волосы.

— Стабильно. Врачи говорят, опасность позади, но... — Она отстранилась, заглянула мне в лицо своими выцветшими серыми глазами — моими глазами. — Ты только не говори ему про завод, ладно? Ни слова. Доктор сказал — любое волнение, и...

— Не скажу.

— И что ты приехала из-за этого — тоже не говори, — добавила она торопливо, понизив голос, будто отец мог услышать нас из больничной палаты в другом конце города. — Скажи, что соскучилась. Что в отпуск. Он же гордый у нас, Алисонька. Узнает, что ты примчалась его спасать, — расстроится хуже, чем от любого инфаркта.

Я кивнула. Я знала, какой он гордый. Эту гордость, передавшуюся мне по наследству, как фамильное серебро и форма глаз, я носила в себе всю жизнь и проклинала её не реже, чем благодарила.

— Соскучилась, — повторила я. — В отпуск. Поняла.

Мать всё держала меня за плечи, разглядывала, будто проверяла, вся ли я тут, ничего ли не растеряла по дороге. Её руки, маленькие, в проступивших венах и пигментных пятнышках, чуть дрожали.

— Худая какая стала, — сказала она наконец, и голос у неё снова дрогнул. — В этой своей Москве не ешь, что ли, ничего.

— Ем, мам.

— Сейчас покормлю.

Мы прошли на кухню. Та же клеёнка в мелкий цветочек, тот же чайник с отбитой эмалью, та же трещина на потолке в форме реки. Я села на свой старый стул — он скрипнул подо мной точно так же, как семь лет назад, — и мать поставила передо мной тарелку с пирогом, хотя я ни о чём не просила. В нашей семье еду не предлагают. Её ставят перед тобой, и это значит «я люблю тебя» на языке, на котором мы все разучились говорить словами.

Этот пирог — с яблоками из нашего сада, с корицей, с румяной решёткой сверху — мать пекла столько, сколько я себя помнила. Запах его был запахом дома, запахом субботнего утра, запахом всего, от чего я бежала. Я отломала вилкой кусочек и положила в рот, и вкус ударил по мне так, что защипало глаза. Я семь лет ела круассаны из дорогих пекарен и ни разу не вспомнила про этот пирог. А он, оказывается, всё это время ждал меня здесь, на той же клеёнке в мелкий цветочек.

— Вкусно, — сказала я, и голос у меня дрогнул.

— Ешь, ешь, — мать засуетилась, подвигая ко мне чашку. — Худющая. Я тебе ещё с собой заверну.

Я смотрела на неё — на её платок, на её руки, на её спину, ставшую круглой за эти годы, — и думала о том, сколько всего пропустила. Сколько таких суббот, таких пирогов, таких маленьких, ничего не значащих и значащих всё разговоров. Я отдала семь лет тому, чтобы не чувствовать, и вот сидела теперь на родной кухне и чувствовала всё разом, и это было невыносимо.

— Рассказывай, — сказала я. — С самого начала. Что с заводом.

И она рассказала.

«Корсаков-Стекло» дышал на ладан уже года три — я знала это, хоть и держалась в стороне. Старое оборудование, дешёвый импорт, кассовые разрывы. Отец латал дыры кредитами, перекредитовывался, закладывал то, что ещё можно было заложить. Гордость не позволяла ему ни признать поражение, ни попросить помощи — особенно у дочери, которая сбежала. А полгода назад кто-то начал скупать долги завода. Тихо, через подставные фирмы, по одному. Не банк. Не конкуренты, которых мы знали. Кто-то с очень длинными руками и очень глубоким карманом, кто методично собирал в кулак всё, чем владел мой отец, чтобы в нужный момент сжать пальцы.

— Холдинг какой-то, — мать беспомощно развела руками. — «Северный меридиан». Отец ездил к ним в город две недели назад. Вернулся серый весь. А на следующее утро...

Она не договорила. Не нужно было.

— А ты у него спрашивала, — сказала я осторожно, отрезая вилкой кусочек пирога, который не собиралась есть, — у папы, что это за холдинг? С кем он там говорил? Кто конкретно?

— Да разве он мне расскажет. — Мать махнула рукой. — Он же со мной про дела никогда. Вернулся серый, сел на кухне вот тут, где ты сидишь, и сказал только: «Всё, Тань. Доигрался. Заберут». И налил себе. А он же не пьёт почти. — Она помолчала. — Я даже фамилии не знаю того человека. Главного ихнего. Только название это — «Северный меридиан», на бумажках видела.

«Северный меридиан». Снова это название, и снова — тонкий, холодный сквозняк где-то на самом краю сознания, будто я уже слышала его когда-то, в другой жизни, и забыла.

Я слушала, и во мне просыпалось то, что я в себе ненавидела и одновременно знала как свою единственную силу. Холодная, ясная злость. Я семь лет занималась именно этим — реструктуризацией проблемных активов, спасением тонущих компаний. Я по ночам видела во

сне таблицы. Я умела читать чужие финансовые катастрофы, как другие читают по руке. И вот теперь катастрофа была наша.

— Документы есть? — спросила я. — Договоры, переписка, всё, что папа подписывал?

— В его кабинете. В нижнем ящике. — Мать смотрела на меня с робкой, почти болезненной надеждой, и от этой надежды мне хотелось завывать. — Ты ведь сможешь, Алисонька? Ты у нас умная. Ты сможешь что-нибудь сделать?

«Северный меридиан». Название ничего мне не говорило — и всё же что-то скребло на задворках сознания, какое-то глухое предчувствие, которому я тогда не придала значения.

— Я попробую, — сказала я.

Кабинет отца был святилищем, куда в детстве вход был запрещён. Я помнила, как стояла на пороге этой комнаты семилетней девочкой и заглядывала внутрь, как в пещеру с сокровищами: тяжёлый письменный стол, кожаное кресло, запах табака и важных мужских дел. Отец сидел здесь по вечерам, склонившись над бумагами, в круге жёлтого света от лампы, и был в эти минуты недосыгаем, как божество.

Теперь я сидела за его столом, в его кресле, в том же круге жёлтого света, и разбирала папки, от которых пахло пылью и тем же табаком, и божество оказалось всего лишь усталым стариком, который не справился. Это открытие почему-то ранило больше всего.

Цифры выстраивались передо мной в знакомую, страшную картину. Я читала их так же легко, как другие читают текст: вот здесь он перекредитовался под грабительский процент, чтобы закрыть кассовый разрыв; вот здесь заложил оборудование, которое и так дышало на ладан; вот здесь, отчаявшись, взял деньги у людей, у которых порядочный человек не берёт. Каждая строчка была маленьким криком о помощи, который он не послал никому. Особенно — мне.

Долгов было больше, чем активов. Завод стоил меньше, чем был должен. С точки зрения любого аналитика, которым я была днём, диагноз был очевиден и безнадежен: банкротить, распродавать по частям, списывать в убыток, забыть. Я выносила такие приговоры чужим компаниям десятки раз и научилась не чувствовать при этом ничего. Это были просто цифры. За цифрами я не видела людей — в этом и состояло моё профессиональное мастерство.

Сейчас за цифрами стоял мой отец. И четыреста семей. И город, в котором я выросла.

С точки зрения дочери, которой я была всегда, его следовало спасти любой ценой.

Я нашла договор уступки прав требования. Главный. Тот, по которому большая часть долгов уходила к новому держателю. Я вела пальцем по строчкам реквизитов, по юридическим формулировкам, по подписям — и вдруг остановилась.

Внизу, в графе «Конечный бенефициар», стояло имя.

Сначала буквы просто не сложились в смысл. Я смотрела на них, и мозг отказывался их собирать, как отказывается узнавать слово, которое смотрел слишком долго. Потом сложились.

И воздух из кабинета исчез.

Я отъехала на кресле от стола так резко, что оно стукнулось о шкаф. Сердце колотилось где-то в горле. Я снова наклонилась к бумаге, надеясь, что прочитала неправильно, что это другой человек, однофамилец, совпадение.

Это было не совпадение.

Я знала это имя так же хорошо, как своё собственное. Я выводила его когда-то на полях тетрадей. Я шептала его в темноте. Я кричала его — один раз, очень давно, в ночь, после которой моя жизнь раскололась надвое.

Человек, который скупал по кусочкам империю моего отца, человек, который держал теперь в кулаке всё, что было мне дорого, был тем самым, которого я предала и бросила семь лет назад.

Память — жестокая штука. Она не спрашивает разрешения. Я сидела в кресле отца, держа в руках договор, а перед глазами стояла та ночь: я, собирающая вещи в темноте, чтобы

не разбудить родителей; записка, которую я начала писать ему раз пять и каждый раз рвала, потому что любые слова были ложью или были слишком правдой; запах летней ночи в открытое окно автобуса, который увозил меня прочь. Я плакала всю дорогу до областного центра, уткнувшись лбом в стекло, и думала, что делаю это ради него. Что когда-нибудь он поймёт. Что лучше пусть ненавидит меня живой и свободный, чем...

Я оборвала мысль. Я научилась обрывать её за семь лет — на этом самом месте, всегда на этом самом месте, потому что дальше начиналось то, о чём я не могла думать, не разваливаясь на части.

Он так и не понял. Конечно, он не понял. Откуда ему было понять? Я ведь сделала всё, чтобы он поверил в худшее. Я сама вложила ему в руки нож и направила остриём себе в спину, и, видимо, попала точнее, чем рассчитывала, — потому что человек, который вырос из той раны, скупал теперь долги моего отца с терпением и методичностью, в которых не было ничего, кроме одного: мести.

Значит, он всё это время помнил. Значит, не забыл, не отпустил, не зажил. Эта мысль должна была меня испугать. А вместо этого она отозвалась во мне чем-то постыдным и горячим, чему я не сразу нашла название, а когда нашла, мне стало совсем нехорошо. Облегчение. Часть меня — маленькая, тёмная, давно запертая часть — почувствовала облегчение от того, что он не забыл.

Я медленно опустилась обратно в кресло. За окном завывала дальняя электричка, и яблоня царапнула веткой по стеклу, будто кто-то постучал.

— Здравствуй, Марк, — сказала я пустому кабинету.

Голос у меня был чужой и сел до хрипоты.

Я просидела так до рассвета. Не плакала — слёзы кончились во мне давно, я выплакала их все в том автобусе семь лет назад. Я просто сидела и думала, и думала холодно, по-деловому, потому что только так умела не сойти с ума.

Факт первый: завод гибнет, и спасти его может только тот, кто держит долги. Факт второй: долги держит Марк. Факт третий: Марк делает это не ради денег — будь дело в деньгах, он бы давно обанкротил завод и забрал землю, это было бы выгоднее и быстрее. Значит, дело не в деньгах. Дело во мне. Он ждал, что я приду. Он всё это и затеял, чтобы я пришла.

Что ж. Я приду. У меня не было выбора, и, может быть, в этом и состоял его расчёт — лишить меня выбора, как когда-то лишили его. Но он кое-чего не учёл. Он привык иметь дело с цифрами и людьми, которых можно купить. А я была дочерью своего отца. Упрямство у нас в крови, как и форма глаз.

К утру у меня был план — наполовину деловой, наполовину отчаянный. Я добьюсь встречи. Я приду к нему не просительницей, а профессионалом. Я предложу схему, от которой выиграют все, в том числе он, потому что бизнесмены, какими бы они ни стали, понимают язык выгоды. Я заставлю его увидеть во мне не девочку из прошлого, а равного игрока.

Я была так наивна. Я думала, что иду торговаться о заводе.

Я не знала, что торговать он собирался мной.

Я выключила лампу. За окном уже серело, пахло мокрой травой и дымом из чьей-то трубы, и где-то прокричал первый петух — в Каменноборске до сих пор держали кур, представить только. Я поднялась наверх, в свою старую девичью комнату, легла поверх покрывала, не раздеваясь, и уставилась в потолок, на трещину в форме реки, которую разглядывала каждую ночь всё своё детство.

И впервые за семь лет я подумала о нём не с виной и не со страхом, а с чем-то опасно похожим на предвкушение.

Это было плохим знаком. Я просто ещё не знала, насколько.

Глава 2. Марк

«Имя в списке»

Я узнал, что она едет, за тридцать восемь часов до того, как она об этом узнала сама.

У меня хорошие люди. Я плачу им столько, чтобы они были не просто хорошими, а лучшими, и чтобы им даже в голову не приходило работать на кого-то другого. Один из них прислал мне сообщение в 6:12 утра, когда я наматывал двенадцатый километр на дорожке в спортзале на сорок третьем этаже, за стеклянной стеной которого просыпался город.

«Дочь Корсакова взяла билет на поезд. Прибытие послезавтра».

Я не сбавил темп. Не позволил себе. Я смотрел на эти буквы на экране, и сердце у меня стучало ровно, дисциплинированно, как ему и было приказано, — но где-то под рёбрами, в месте, которое я давно объявил мёртвым, что-то дёрнулось. Один раз. Коротко.

Я положил телефон обратно на держатель и прибавил скорость. Внизу, за стеклом, город разворачивался в утреннем тумане — реки улиц, кварталы, муравейник чужих жизней, на который я смотрел сверху каждое утро на протяжении трёх лет. Когда-то этот город был для меня вертикалью, по которой можно карабкаться только вверх или срывать вниз. Я карабкался. Я срывался. Я снова карабкался. И вот теперь я был на самом верху, на сорок третьем этаже, и смотрел на всё это сверху, и должен был бы чувствовать себя царём.

Пот заливал глаза. Лёгкие горели. Я держал темп, который убил бы человека послабее, потому что боль я понимал — боль была честной, боль не предавала. Я доверял только тому, что можно измерить: дистанции, весу, проценту, времени. Чувства не измеряются. Чувства лгут. Я выучил это в восемнадцать и с тех пор не давал им ни единого шанса.

Семь лет. Семь лет я строил мост из стекла и стали ровно к этому утру, и вот мост был достроен, и по нему наконец шла она.

Люди думают, что месть — это вспышка. Удар в ответ на удар, горячий, быстрый, по живому. Они ошибаются. Настоящая месть — это терпение. Это годы, сложенные в холодную, ровную кладку. Это умение ждать так долго, что само ожидание становится твоей второй кожей, и ты уже не помнишь себя без него. Я научился этому в восемнадцать, стоя на чужом крыльце с горящим лицом, и с тех пор оттачивал, как другие оттачивают ремесло.

Я не пил. Я не позволял себе женщин, которые задерживались бы дольше необходимого. Я не заводил друзей, которых пришлось бы впускать. Я спал по пять часов, работал по восемнадцать и складывал, складывал, складывал — компанию к компании, этаж к этажу, миллион к миллиону. Аналитики называли меня феноменом. Журналисты — акулой. Никто из них не понимал простой вещи: мной двигала не жадность. Меня вообще не интересовали деньги сами по себе. Деньги были просто инструментом. Молотком, которым я однажды собирался постучать в одну-единственную дверь.

Я закончил дистанцию. Я всегда заканчиваю то, что начал, — это первое правило, которое я установил себе ещё мальчишкой, когда у меня не было ничего, кроме упрямства и злости. Потом я принял душ, надел костюм, который стоил больше, чем мой отец зарабатывал за два года на заводе, и поднялся в кабинет.

Я до сих пор помнил тот день, когда узнал, что она уехала. Мне было восемнадцать. Я пришёл к их дому на третий день после разговора с её отцом — пришёл, несмотря ни на что, потому что был молод, глуп и влюблён, и думал, что любовь сильнее любого «всё схвачено». Я хотел увезти её. У меня было полторы тысячи в кармане и пустота за душой, но я был готов посадить её на первый же автобус и начать где угодно с нуля, лишь бы вместе.

Калитку открыла её мать. Посмотрела на меня — и я по её лицу всё понял раньше, чем она открыла рот. «Уехала Алиса, — сказала она, не глядя мне в глаза. — Поступать. В столицу. Ты её больше не ищи, сынок. Не надо». И закрыла калитку.

Я стоял на той улице, наверное, час. Может, два. Я не помню. Помню только, что в какой-то момент во мне что-то выключилось — щёлкнуло, как рубильник, — и стало очень тихо и очень холодно. И в этой тишине я дал себе слово. Не вернуть её. Тогда я ещё думал, что

вернуть. Нет. Я дал себе слово стать таким, чтобы никто и никогда больше не смог посмотреть на меня сверху вниз и закрыть передо мной калитку.

Я сдержал слово. Я всегда держу слова — это второе моё правило. Просто на это ушло семь лет.

Сначала был грузовой терминал, где я разгружал фуры по ночам и читал учебники по экономике днём, заваливаясь спать урывками. Потом — первая сделка, на чужие деньги, под проценты, которые могли меня похоронить; я не спал тогда трое суток, но не похоронили. Потом — вторая, третья. Я научился чувствовать страх других людей кожей и обращать его в деньги. Я скупал то, от чего все отказывались, и заставлял это работать. Меня называли везунчиком — те, кто не видел, сколько ночей я провёл, сводя цифры до рассвета. Везение тут было ни при чём. Просто я был голоднее всех в комнате. Всегда.

К тридцати у меня был холдинг. К тридцати трём — этот кабинет, эта башня, это имя, при упоминании которого взрослые мужчины подбирались и начинали выбирать слова. Я добился всего, к чему когда-то поклялся пробиться. И единственное, чего у меня по-прежнему не было, — это ответа на вопрос, который выжигал меня изнутри все эти годы.

Папка с Корсаковым лежала у меня на столе. Кожаная, тёмная. Внутри — три года моей работы. Каждый просроченный платёж, каждый заложенный станок, каждая ночь, которую старик Корсаков провёл, не зная, что его медленно, аккуратно, с почти нежной методичностью загоняют в угол.

Я открыл папку и в который раз пролистал её. Я знал наизусть каждую цифру, но мне нравилось прикасаться к этим листам — так скряга перебирает монеты, так охотник чистит ружьё перед тем, как выйти на тропу. Здесь была вся его жизнь, разложенная на колонки: кредиты, залоги, просрочки, отчаянные шаги загнанного человека. Я читал эту хронику медленного падения с холодным, почти научным интересом и каждый раз отмечал, в каком именно месяце старик понял, что тонет, и в каком — что не выплывет.

Я не торопился. В этом и был весь смысл. Можно было раздавить завод за неделю — выкупить долги одним пакетом, предъявить к взысканию, обанкротить и забыть. Но я не хотел, чтобы это было быстро. Я хотел, чтобы это было неотвратимо. Чтобы старик почувствовал, как петля затягивается, виток за витком, и чтобы он сделал единственное, что мог сделать гордый человек на грани разорения: позвал на помощь свою блудную дочь.

И она приехала. Конечно, она приехала. Я знал её — или думал, что знал, — а Алиса Корсакова при всех своих грехах никогда не умела бросать тонущих. Кроме одного раза. Кроме меня.

Я следил за ней все эти годы. Не постоянно — я не был сумасшедшим, который развешивает по стенам фотографии. Просто раз в полгода на моём столе появлялась тонкая папка: где она, чем занимается, с кем. Я читал эти отчёты так же, как читал бы сводку по интересующему активу, — с холодным, отстранённым вниманием, убеждая себя, что это всего лишь сбор данных перед операцией. Финансовый аналитик. Хорошая квартира в центре. Карьера, идущая в гору. Никого постоянного рядом — это я отмечал каждый раз и каждый раз говорил себе, что мне всё равно.

Я знал, что у неё дорогая стрижка и что она перестала носить серебро, которое любила в юности. Я знал, что она бросила курить и снова начала, а потом опять бросила. Я знал, что она ни разу — ни разу за семь лет — не приехала в Каменноборск. И этот факт я перечитывал чаще других, и каждый раз он подтверждал то, что я и так знал: она вычеркнула отсюда всё. Город. Отца. Меня.

Что ж. Теперь я был не из тех, кого можно вычеркнуть.

Я подошёл к окну. Сорок третий этаж. Под ногами лежал город, который когда-то выплюнул меня, как косточку, — сын слесаря-алкоголика с окраины, мальчишка в чужих обносках, которого однажды вышвырнул с порога её собственный отец. «Чтобы я тебя рядом с моей доче-

рю больше не видел». Я тогда стоял на этом самом пороге, у меня горело лицо, и я поклялся себе, что вернусь. Не к ней — нет, тогда я ещё думал, что вернусь к ней. Я был наивен.

Теперь я возвращался не к ней. Я возвращался за ней.

Разница была тонкой, но для меня — всем. К человеку возвращаются с открытыми руками. За человеком приходят. Так приходят кредиторы, так приходят охотники, так приходит зима. Я не собирался открывать руки. Я собирался получить то, что мне задолжали, — а задолжали мне семь лет жизни, прожитых с дырой в груди, и один-единственный ответ, который я был намерен вырвать из неё любой ценой.

Я знал, что это нездорово. Где-то на периферии сознания тихий, рассудительный голос — голос человека, которым я мог бы стать, если бы та калитка тогда не закрылась перед моим лицом, — говорил мне, что нормальные люди так не живут. Что нельзя строить империю ради одной женщины. Что месть, которую вынашивают семь лет, в итоге сжирает не того, кому предназначена, а того, кто её носит. Я давно научился не слушать этот голос. Он был слаб. А я не мог позволить себе слабость — слабым я уже был однажды, в восемнадцать, на чужом крыльце, и хорошо запомнил, чем это кончается.

— Марк Андреевич. — В дверях стоял Гордеев, мой заместитель, с планшетом и своей вечной услужливой улыбкой, за которой я давно научился видеть голодные зубы. — Совет по «Корсаков-Стекло» назначен на четверг. Юристы готовы инициировать процедуру взыскания. Дайте отмашку, и через месяц актив наш. Хорошее вложение: земля под заводом одна стоит втрое.

— Не надо взыскания, — сказал я, не оборачиваясь.

Пауза. Я почти физически почувствовал, как он озадаченно моргает.

— Простите?

— Я сказал — не надо. — Я повернулся. — Придержи юристов. По Корсакову я буду работать сам.

— Сам? — Гордеев осторожно склонил голову набок. — Марк Андреевич, при всём уважении, актив небольшой. Ваше личное время стоит...

— Я знаю, сколько стоит моё время. — Я сказал это тихо. Я всегда говорю тихо, когда хочу, чтобы человек замолчал. Это работает лучше крика. — Придержи. Юристов. По. Корсакову. Это всё, Гордеев.

Гордеев задержался в дверях на секунду дольше нужного. Я знал этот его взгляд — короткий, оценивающий, чуть исподлобья. Так смотрит человек, который записывает каждую твою странность в невидимый блокнот, на будущее. Я держал его при себе именно поэтому: умный, хищный, амбициозный. Полезный, пока понимает, кто здесь хищник крупнее. Но я не питал иллюзий — в тот день, когда я оступлюсь, Гордеев окажется первым, кто почует кровь.

— Как скажете, Марк Андреевич, — произнёс он наконец с безупречной, ничего не выражающей улыбкой и закрыл за собой дверь.

Он ушёл, и я снова остался один на один с папкой.

Я открыл её. Сверху лежала фотография — не для дела, не нужная ни для какой сделки. Я попросил её достать давно, ещё года два назад, и сам не знал зачем. Алиса на ней была снята на улице, в столице, выходящей из стеклянного офисного здания. Деловой костюм, волосы стянуты в строгий узел, лицо холодное и собранное. Чужое лицо. Лицо женщины, которая чего-то добилась.

Но я знал, что под этим лицом. Я знал, как опускаются внешние уголки её глаз, отчего даже в смехе у неё всегда жила тень печали. Я знал маленький шрам у большого пальца — она порезалась о заводское стекло в шестнадцать, и я тогда зажимал ей рану своей футболкой и думал, что умру от того, как сильно её люблю. Я знал, как звучит её голос, когда она злится: ниже, тише, с хрипотцой.

Я провёл большим пальцем по краю фотографии и поймал себя на этом жесте. Остановился. Убрал руку.

В юности я знал её лицо лучше собственного. Я мог бы нарисовать его с закрытыми глазами — если бы умел рисовать. Эти светло-серые глаза с опущенными уголками, которые делали её грустной даже в самые счастливые минуты. Эту переносицу в веснушках, которую она ненавидела и которую я целовал именно за то, что она её ненавидела. Я помнил, как она хмурилась, когда думала, и как закусывала губу, когда смущалась, и как теребила на безымянном пальце несуществующее кольцо, когда нервничала, — все эти мелочи сводили меня с ума ещё тогда, когда я был мальчишкой и не понимал, что со мной творится.

Семь лет я не позволял себе вспоминать всё это. А теперь, зная, что послезавтра она будет стоять передо мной, я вдруг обнаружил, что ничего не забыл. Что всё это лежало во мне, нетронутое, как стекло на дне реки, — холодное, прозрачное, острое.

Я отошёл от окна и сел за стол. Провёл ладонью по гладкой холодной столешнице — она была из цельной плиты чёрного камня, привезённой откуда-то из Италии, и стояла как квартира в приличном районе. В юности я спал на раскладушке в комнате, где зимой замерзала вода в стакане. Я хорошо помнил это ощущение — холод, от которого нельзя укрыться, который пробирает до костей и поселяется внутри навсегда. Я думал, что, заработав достаточно денег, избавлюсь от него. Я ошибся. Холод никуда не делся. Я просто обил его дорогим камнем и назвал стилем.

Нет. Это не нежность. Это было что угодно, только не нежность. Это был счёт, который я наконец выставлял к оплате. Семь лет я ждал ответа на один-единственный вопрос — почему. Почему она ушла среди ночи, без слова, оставив меня с разорванным надвое сердцем и уверенностью, что для дочки хозяина завода я был всего лишь летним приключением, дворняжкой, с которой наигралась богатая девочка.

Я выстроил всё это, — я обвёл взглядом кабинет, город, сорок три этажа под ногами, — чтобы однажды она вошла в эту дверь. Загнанная в угол. Без вариантов. И чтобы попросила меня о пощаде.

И вот теперь, когда до этого оставались считанные часы, я ловил себя на странном. Я не чувствовал того, что должен был. Я воображал этот триумф столько раз, что выучил наизусть каждую деталь: как она будет стоять, как опустит наконец свои гордые серые глаза, как я отвечу ей ровно и холодно. Сценарий был отрепетирован до запятой. Но где-то под ним, под холодной ровной кладкой семи лет, что-то ворочалось — глухо, тяжело, неудобно. Что-то, чему я не хотел давать имени, потому что у мести нет места для имён. Месть проста. Назовёшь это иначе — и всё рассыплется.

Я не позволю ему рассыпаться. Я слишком долго строил.

Я закрыл папку с фотографией и отложил её в сторону. Придвинул другую — тонкую, с расчётами по заводу, — и в последний раз прошёлся по плану. Всё было готово. Контракт я напишу сам, ночью, без юристов — потому что ни один юрист не должен видеть того, что я собирался ей предложить. Завод я спасу — не ради старика, упаси боже, а потому что разорённый завод не даст мне того, чего я хотел. Мне не нужна была её нищета. Мне нужна была она сама — добровольно вошедшая в мою клетку, день за днём подтверждающая своей подписью, своим присутствием, своей капитуляцией, что я выиграл. Что мальчишка с обочины оказался сильнее.

План был безупречен. Я гордился им так, как гордятся хорошо сведённым балансом. И только где-то на самом дне, под цифрами и логикой, шевелилось то, в чём я не признался бы и под пыткой: что на самом деле мне был нужен не выигрыш. Мне был нужен ответ. Мне нужно было услышать из её собственных губ, почему семь лет назад она ушла, не оглянувшись, и сделала из меня то, чем я стал.

— Скоро, — сказал я фотографии, прежде чем убрать её в ящик. — Уже совсем скоро.

И впервые за семь лет я почувствовал не пустоту. Я почувствовал голод.

Глава 3. Алиса

«Северный меридиан»

Башня «Северного меридиана» резала небо над городом, как лезвие, — сплошное чёрное стекло и сталь, надменная и холодная. Я стояла перед ней, задрав голову, в своём лучшем костюме, который вдруг показался мне дешёвым, и думала о том, что человек строит здания по своему образу. Эта башня была вся такая: безупречная, неприступная, выстроенная, чтобы внушать чувство собственной незначительности всякому, кто посмеет к ней подойти.

Стоя перед этой башней, я чувствовала себя так, будто пришла на собственную казнь в лучшем платье. Глупое сравнение — но другого в голову не лезло. Люди вокруг текли мимо: курьеры, клерки с одинаковыми бейджами, девушки на каблуках с картонными стаканчиками кофе. Все они спешили по своим делам, и никому из них не было дела до женщины, которая стоит, задрав голову, и собирается с духом, чтобы войти.

Я добивалась этой встречи четыре дня. Четыре дня звонков, писем, вежливых отказов секретарей с одинаково гладкими голосами. «Господин Воронов не принимает по этому вопросу». «Господин Воронов крайне занят». Я уже почти отчаялась, когда вчера вечером мне перезвонили и ледяным тоном сообщили, что господин Воронов готов уделить мне пятнадцать минут. Сегодня. В четыре.

Я узнала имя бенефициара ещё в ту первую ночь над папками отца — и три дня жила с ним, как живут с осколком под кожей. Марк Воронов. Я гуглила его до рассвета, и интернет вываливал на меня одну статью за другой: «Самый молодой владелец частного холдинга в регионе». «Воронов: человек, который не проигрывает». «Загадочный инвестор, о личной жизни которого не известно ничего». К статьям прилагались фотографии — и с каждой на меня смотрел незнакомец в дорогом костюме, с холодным лицом и тяжёлым взглядом, в котором я тщетно искала того мальчишку.

Я говорила себе, что это совпадение. Что мало ли в стране Вороновых. Что мой Марк — тот, прежний — давно живёт где-нибудь обычной жизнью, женат, с детьми, с пузом и кредитом на машину, и слухом не слыхивал ни про какие холдинги. Я очень старалась в это верить. У меня почти получалось — ровно до того момента, как двери лифта на сорок третьем этаже разъехались.

Я не спала ночь. Я готовилась так, как никогда в жизни ни к чему не готовилась: расписала аргументы, цифры, варианты реструктуризации, план оздоровления завода на три года вперёд. Я знала эту работу. Я была в ней лучшей. Я говорила себе, что иду на деловую встречу, что Марк теперь бизнесмен, а бизнесмены понимают язык денег, и что если я предложу ему достаточно убедительную схему, в которой он не теряет, а наоборот, выигрывает, он согласится. Я говорила себе это всю ночь.

Чего я себе не говорила — так это что увижу его. По-настоящему увижу. Впервые за семь лет.

Лифт поднимался бесшумно и быстро, и от перепада давления у меня закладывало уши, или, может, это просто колотилось сердце. Сорок третий этаж. Двери разъехались, и меня встретила приёмная размером с теннисный корт: серый камень, чёрное дерево, ни одной лишней вещи. Ни картины на стенах, ни цветка, ни единого личного следа — только безупречная, выверенная пустота, в которой человек чувствовал себя случайной соринкой. Я знала такие интерьеры. Их создают не для красоты. Их создают, чтобы тот, кто вошёл, сразу понял, кто здесь хозяин, а кто — проситель.

«Он сделал это нарочно, — подумала я, и в груди шевельнулась злость, неожиданно придавшая мне сил. — Всё здесь сделано нарочно. Высота, пустота, эта тишина. Чтобы я почувствовала себя маленькой ещё до того, как открою рот».

Что ж. Я приехала из города, где люди варят стекло в печах, которые не гаснут никогда. Меня не так-то просто заставить почувствовать себя маленькой. По крайней мере, я очень в это верила — ровно до той секунды, пока не открыла дверь. Секретарша, красивая и безупречная, как и всё здесь, поднялась мне навстречу.

— Госпожа Корсакова? Господин Воронов вас ждёт. — Она указала на двойные двери в дальнем конце. — Прошу.

Я шла к этим дверям и чувствовала, как немеют пальцы. «Это бизнес, — повторяла я про себя. — Просто бизнес. Ты профессионал. Войди, изложи, выйди».

Я толкнула дверь.

Кабинет был огромным и заливался светом из окон от пола до потолка, за которыми лежал весь город — крошечный, ненастоящий, как макет под стеклом. Отсюда люди внизу казались точками, а их дома — кубиками, и я подумала, что человек, который каждый день смотрит на мир с такой высоты, рано или поздно начинает верить, что и люди — точки, которые можно передвигать пальцем.

А спиной к этому свету, у стола, стоял он.

И я перестала дышать.

Семь лет назад я оставила мальчишку. Худого, гордого, с вечной щетиной, в которой он сам путался, в дешёвой куртке, с глазами, которые загорались каждый раз, когда он на меня смотрел. Я помнила его руки — большие, с заусенцами, в мелких ожогах от завода, где он подрабатывал. Я помнила, как он смеялся, запрокидывая голову.

Человек у стола не имел с тем мальчишкой почти ничего общего — и был им весь, до последней чёрточки, и это было хуже всего.

Он стал больше. Шире в плечах, тяжелее той собранной, опасной силой, которую дорогой тёмно-серый костюм не прятал, а лишь подчёркивал. Тёмные волосы чуть длиннее, чем носят люди в таких костюмах. Резкая челюсть. И глаза — боже, эти глаза. Цвета остывшего олова, и в них не было ни одной из тех искр, которые я помнила. Они смотрели на меня ровно, спокойно, изучающе — так смотрят на цифру в отчёте.

— Алиса, — сказал он.

Не «госпожа Корсакова». Просто — Алиса. Тихо, без нажима, как ставят точку. И в том, что он назвал меня по имени, в том, как он его произнёс — будто пробовал на прочность, будто проверял, не обожжёт ли, — было больше, чем в любых словах, которые могли бы последовать.

Один мой голос — и у меня по спине прошла дрожь. Он стал ниже. Спокойнее. От него теперь веяло властью так же естественно, как раньше веяло отчаянной юностью.

Все мои аргументы, все цифры, весь трёхлетний план оздоровления вылетели у меня из головы разом, как стая вспугнутых птиц. Я столько раз репетировала эту встречу — перед зеркалом в гостиничном номере, в лифте, в коридоре, — что выучила первую фразу наизусть: «Господин Воронов, благодарю, что нашли время. У меня деловое предложение, которое, уверена, вас заинтересует». Чётко. Профессионально. На равных.

От всей этой заготовки во мне не осталось ни слова. Осталось только тело — которое узнало его раньше, чем разум, и предательски отозвалось: участился пульс, по коже прошла волна, в животе что-то сжалось и оборвалось, как в детстве на качелях, когда взлетаешь слишком высоко. Семь лет. Семь лет я строила себя заново, по кирпичику, как и он, видимо, строил себя, — и хватило одного взгляда, чтобы я снова стала шестнадцатилетней девчонкой, которой парень из цеха протянул стакан кваса.

Имя вышло чужим, сиплым, будто я не произносила его вслух семь лет. Да я и не произносила. Я запретила себе это имя, как запрещают трогать незажившую рану, — и вот оно сорвалось с губ само, и от звука собственного голоса, произнёсшего «Марк», у меня защемило в горле.

— Марк, — выдавила я.

Уголок его рта едва заметно дрогнул. Не улыбка. Что-то холоднее.

— Господин Воронов, — поправил он мягко. — Раз уж у нас деловая встреча. Присаживайтесь.

Я не села. Я не доверяла своим коленям. Я вцепилась в спинку кресла перед его столом и заставила голос звучать ровно.

— Ты скупаешь долги моего отца.

— Да.

Так просто. Ни оправдания, ни объяснения. Он обошёл стол — медленно, без единого лишнего движения, — и сел в своё кресло, откинувшись назад, сцепив пальцы. Спокойный, как удав. Я стояла, он сидел, и я понимала, что он сделал это нарочно: пусть проситель стоит.

— Зачем? — спросила я. — «Корсаков-Стекло» — копейки для тебя. Тут нечего ловить. Завод в долгах, оборудование старое, рынок проседает. Любой аналитик скажет тебе, что это плохой актив.

— Любой аналитик, — повторил он, и в его глазах что-то блеснуло — на долю секунды, как солнце на лезвии. — Ты ведь аналитик, Алиса. Хороший, говорят. Спасает чужие тонущие компании. — Он чуть наклонил голову. — Иронично, не находишь? Что свою спасти не смог.

Удар попал точно в цель, и он это знал. Я сжала пальцы на спинке кресла так, что побелели костяшки.

Вот оно. Вот в чём была разница между тем Марком и этим. Тот никогда бы не ударил меня словом нарочно, в больное место, с холодным расчётом. Тот мальчишка был грубоват, вспыльчив, мог наговорить сгоряча — но в нём не было жестокости. А этот человек выбирал слова, как хирург выбирает скальпель, и резал ими спокойно, аккуратно, глядя тебе в глаза. И я подумала с тоской, от которой засосало под ложечкой: что же я с тобой сделала. Что должно было случиться, чтобы из того получился этот.

А потом я вспомнила, что это он сейчас держит в кулаке судьбу моего отца, и тоска уступила место злости, и за злость я ухватилась с благодарностью, потому что злиться было куда безопаснее, чем жалеть.

Соберись, приказала я себе. Ты не девчонка из цеха. Ты пришла спасать отца. Веди себя соответственно.

Я выпрямила спину. Достала из сумки папку — свою, тонкую, с распечатанным планом, над которым корпела всю ночь, — и положила на край его необъятного стола. Руки, к моему облегчению, не дрожали. По крайней мере, внешне.

— Я приехала с предложением, — сказала я, цепляясь за единственную опору, которая у меня была: за работу. — План реструктуризации. Если ты дашь заводу отсрочку и реструктурируешь долг, я гарантирую выход на безубыточность за три года. У меня есть расчёты. Это выгоднее, чем банкротить и распродавать по частям, поверь мне, я считала...

— Я тебе верю, — перебил он. И это «верю» прозвучало так, что я осеклась. — Я уверен, расчёты безупречны. Ты всегда была умной.

— Тогда...

— Меня не интересует выгода, Алиса.

Я замолчала. В кабинете повисла пауза, длинная, гулкая, и в этой паузе я вдруг услышала всё разом: тихое гудение климат-контроля, далёкий, едва различимый шум города под нами, собственное дыхание. Где-то за стеной мелодично звякнул лифт. А он стоял и смотрел на меня — спокойно, не мигая, с тем терпением, от которого по коже бежали мурашки.

— Тогда зачем всё это? — Я заставила голос звучать твёрдо. — Зачем три года скупать долги по одной бумажке, тратить силы, время, людей? Ты ведь не из тех, кто делает что-то просто так. Что ты хочешь, Марк? Скажи прямо. Денег? Завод? Землю? Назови цену, и я найду способ...

— Ты всё ещё думаешь, что у всего на свете есть цена в рублях, — перебил он мягко, и в этой мягкости было что-то опаснее любого крика. — Это потому что ты так и не поняла, чего лишила человека однажды. Когда лишаешь по-настоящему — деньги тут уже ни при чём.

Я открыла рот. Закрыла. Его слова задели что-то глубоко внутри, какую-то старую, тщательно замурованную дверь, и я почувствовала, как у меня холодеют кончики пальцев.

Я замолчала. Город за его спиной горел в закатном свете, и от этого его лицо оставалось в тени, и я не могла прочитать его. Только глаза — светлые, неподвижные.

— Не интересует... выгода? — медленно переспросила я. — Тогда что тебя интересует?

Я слышала собственный голос будто со стороны. В груди разрасталось нехорошее предчувствие — то самое, тонкое и холодное, как сквозняк, которое преследовало меня с первого дня, с первого упоминания «Северного меридиана». Только теперь сквозняк превратился в ветер.

— Подумай, Алиса, — сказал он, и в его голосе впервые проскользнуло что-то живое, какая-то еле слышная горечь под слоем льда. — Ты умная женщина. Спасает чужие компании на завтрак. Неужели ты правда думаешь, что я три года, по одной бумажке, выкупал долги умирающего заводика на краю света ради «выгоды»? — Он чуть усмехнулся, и от этой усмешки мне стало холодно. — Сложи цифры. Ты ведь любишь складывать цифры.

Я сложила. Я уже сложила — в ту первую ночь над папками отца, просто не позволяла себе досчитать до конца. А он смотрел на меня и ждал, спокойно, терпеливо, как человек, который ждал семь лет и может подождать ещё минуту.

Он встал. Обошёл стол снова, теперь в обратную сторону, и остановился совсем близко — слишком близко, на расстоянии вытянутой руки, и я впервые за семь лет почувствовала его запах. Дорогое дерево, кожа, что-то холодное и чистое, как мороз. Под этим — едва уловимо — что-то, от чего у меня сжалось горло, потому что это было его, прежнее, то, что не купишь ни за какие деньги.

Он смотрел на меня сверху вниз, и я задрала подбородок, чтобы не отводить взгляд. Я скорее умерла бы, чем отвела первой.

Время будто загустело. Я стояла в полушаге от человека, которого когда-то знала наизусть, и не узнавала в нём ничего — и узнавала всё. Тот же разрез глаз. Та же манера держать паузу, склонив голову чуть набок. Те же руки, только теперь без заусенцев и ожогов, с ухоженными ногтями, но всё равно большие, тяжёлые, и я с ужасом поймала себя на том, что помню, какими они были на ощупь. Семь лет, целая жизнь между нами — а тело помнило, и память эта была унизительно живой.

Он был так близко, что я могла бы сосчитать ресницы. Так близко, что видела крошечный белый шрам, рассекавший его левую бровь, — его не было раньше, его он заработал где-то в те семь лет, что я провела вдаль, в той жизни, о которой ничего не знала. И от этого шрама, от этого маленького доказательства, что он жил, страдал, менялся без меня, у меня внезапно сжалось горло.

— Меня интересуешь ты, — сказал он очень тихо.

В кабинете стало так тихо, что я слышала, как пульсирует кровь у меня в ушах.

— Что? — прошептала я.

Мир сузился до его лица и до этих двух слов, повисших в воздухе между нами. «Меня интересуешь ты». Я искала в его глазах хоть что-то — насмешку, ложь, блеф, — за что можно было бы зацепиться, что можно было бы отбить деловым тоном. Не нашла. Он сказал это так, как говорят то, что обдумывали годами. Спокойно. Окончательно.

И в этот миг до меня дошло — поздно, слишком поздно, — что я недооценила всё. Я готовилась к встрече с бизнесменом. К торгу о реструктуризации, о процентах, о сроках. Я принесла папку с расчётами, как приносят оружие на переговоры. А оказалось, что я пришла

безоружной на войну, которая началась семь лет назад и о которой я даже не подозревала, что она всё ещё идёт.

— Ты не можешь говорить серьёзно, — выговорила я, и собственный голос показался мне чужим. — Это... это бред. Это не делается. Люди так не...

Он улыбнулся — наконец-то, по-настоящему, — и от этой улыбки мне стало холодно до костей, потому что в ней не было ни капли того тепла, которое я когда-то любила больше жизни.

— Садись, Алиса, — сказал он, и теперь это был не вопрос. — У меня есть для тебя предложение. И, в отличие от твоего, от моего ты не сможешь отказаться.

Я могла развернуться и уйти. Я думала об этом — одну долгую, отчаянную секунду я представляла, как поворачиваюсь на каблуках, иду к двери, спускаюсь на лифте и выхожу на улицу, свободная, и оставляю его с его мстостью наедине. Картинка была сладкой ровно до того мгновения, пока я не вспоминала отца с трубками в носу, мать в платке, четыреста человек, для которых этот завод — всё. Уйти означало уйти от них, а не от него.

Он знал это. Конечно, он знал. Он всё рассчитал заранее, до последнего хода, и оставил мне ровно столько свободы, сколько оставляют рыбе на крючке: плыви куда хочешь, леска всё равно у меня в руках.

Я села.

Глава 4. Марк

«Контракт»

Она села, и я позволил себе одну долгую секунду просто смотреть на неё.

Семь лет. Семь лет я выстраивал эту минуту по кирпичику — не одну её, а всё, что её окружало: этот этаж, этот кабинет, эту высоту над городом, с которой люди внизу кажутся муравьями. Я скупал доли в заводе её отца методично, без спешки, как хирург готовит операционное поле, чтобы однажды она сама пришла ко мне просить. И вот она пришла. Сидела напротив, в дешёвом, но безупречно отглаженном костюме, с прямой спиной, и я наконец-то держал в руках всё, ради чего жил. Я должен был торжествовать. Я ждал, что буду торжествовать.

Я представлял этот момент столько раз, что выучил его наизусть. В моих фантазиях я был спокоен — и я был спокоен. Я был холоден — и я был холоден. Чего я не предусмотрел, так это того, как она будет пахнуть. Цитрус и тёплая ваниль, тот же запах, что и семь лет назад, и от него у меня на мгновение подкосилось что-то в основании черепа, как от удара. Семь лет дисциплины — и один вдох едва не свалил всё.

Я обошёл стол и сел напротив. Дистанция. Дистанция — это контроль. Между нами лежала чёрная каменная столешница, метр с лишним полированного итальянского мрамора, и мне нужен был каждый сантиметр этого метра, потому что вблизи она была опаснее, чем я рассчитывал. Я выбирал этот стол сам — единственная вещь в кабинете, которую я выбрал лично, а не доверил консультанту. Холодный, тяжёлый, незыблемый. Тогда мне казалось, я выбираю его за вид. Теперь я понимал, что выбирал баррикаду — заранее, не зная для кого, но зная, что однажды она мне понадобится.

Я воображал её все эти годы. В моих представлениях она была либо холодной стервой, которой я мстил с лёгким сердцем, либо сломленной просительницей, чьи слёзы наконец-то напоят мою сухую злость. Я не предусмотрел третьего варианта — что она будет просто собой. Старше. Жёстче по краям. С тенями под глазами, которых не было в восемнадцать, и с той же упрямой жилкой, что когда-то заставляла меня одновременно злиться и сходить с ума. Реальная Алиса не помещалась ни в одну из моих заготовок, и это сбивало с темпа.

Я заставил лицо остаться неподвижным. Лицо — это последний рубеж. Можно потерять контроль над сердцем, над дыханием, над тем, что творится под рёбрами, — но лицо должно

держат строй до конца. Этому я научился ещё мальчишкой, под кулаками отца: не показывай, что больно. Боль, которую видят, — это оружие в чужих руках.

— Твоему отцу должно «Корсаков-Стекло» сто девяносто миллионов, — сказал я. — Из них сто сорок держу я. Остальное — банк, который пойдёт за мной, как только я щёлкну пальцами, потому что банку я нужнее, чем твой отец. — Я говорил ровно, бесстрастно, тем голосом, которым закрываю сделки на миллиарды. — Через две недели я могу предъявить всё к взысканию. Завод уйдёт с молотка. Земля под ним — а земля, Алиса, стоит дорого — отойдёт мне. Четыреста человек окажутся на улице в городе, где другой работы нет. Твой отец, насколько я знаю, лежит в кардиологии после инфаркта. Не уверен, что он переживёт известие о банкротстве.

Она побледнела. Но — и я отметил это с чем-то вроде мрачного уважения — не дрогнула.

— Ты пришёл сюда мстить старику, — сказала она тихо. — Который выгнал тебя с порога.

Я не позволил ни одной мышце на лице дрогнуть, но внутри что-то сжалось. Значит, она знала. Знала про крыльцо, про «сына Вороного-пьяницы», про «в порошок сотру». Значит, отец ей рассказал — или она была там, за дверью, и слышала всё. Семь лет я гадал, что ей известно. Теперь я знал: ей известно достаточно. И всё равно она ушла. Это знание не примирило меня с ней — оно сделало всё только хуже.

— Я никому не мщу. — Я выдержал паузу. — Я просто перестал быть тем, кого можно вышвырнуть.

— Тогда чего ты хочешь? — Её голос сел, стал ниже, с той самой хрипотцой. Она злилась. Хорошо. Злость я понимал. — Ты сказал, тебя не интересует выгода. Ты сказал, тебя интересую я. Что это значит, Марк? Говори прямо, я не выношу игр.

Не выносит игр. Я едва не рассмеялся. Вся её жизнь когда-то была одной большой игрой, в которой я оказался разменной фигурой — так я себе это объяснял семь лет, и объяснение это стало частью меня, как шрам. Но сейчас, глядя ей в лицо, я впервые усомнился. Она не играла. Она стояла передо мной, бледная, с побелевшими костяшками вцепившихся в кресло пальцев, и в её глазах был настоящий, неподдельный страх — не за себя, я видел это, а за отца. И эта неподдельность была мне неудобна. С куклой из моих фантазий было проще иметь дело, чем с живой женщиной.

Я открыл ящик стола и достал папку. Тонкую. В ней лежало всего несколько листов — я переписывал их сам, поздно ночью, при свете настольной лампы, вычёркивая, переписывая, взвешивая каждое слово, как взвешивают яд. Ни один юрист их не видел и не увидит. То, что я собирался ей предложить, не имело отношения к праву. Это было личное от первой буквы до последней. Я положил папку на стол и развернул к ней.

— Контракт, — сказал я.

Она опустила взгляд на бумаги, но не притронулась к ним. Будто боялась, что они обожгут. Я знал, что там написано, до последней запятой: сроки, условия, обязательства сторон, формулировки сухие и юридически безупречные, под которыми спрятано то, что ни один суд не назвал бы законным. Я составлял этот текст не для суда. Я составлял его для неё — чтобы каждое слово било точно в цель, чтобы за деловой формой она расслышала то, что я не мог сказать прямо: ты вернёшься. Ко мне. На моих условиях. И будешь возвращаться каждый день, своей рукой, своей подписью.

— Условия простые. — Я откинулся назад. — Я выкупаю весь долг твоего отца. Полностью. Я реструктурирую его на себя, вливаю оборотные средства, обновляю производство. Завод живёт. Рабочие места сохраняются. Твой отец узнаёт, что некий инвестор поверил в семейное дело и спас его. Он умрёт стариком в своей постели, гордый и спокойный, так и не узнав, кто его спаситель. — Я сделал паузу. — Это первая часть.

— Зачем тебе это? — перебила она, и в голосе прорезалась сталь. — Ты ненавидишь моего отца. Он выгнал тебя. А ты предлагаешь спасти его дело — да ещё так, чтобы он ничего

не узнал, чтобы спал спокойно. Это не похоже на мечь, Марк. Это похоже на... — она запнулась, не находя слова.

— На милосердие? — Я усмехнулся. — Не льсти ни мне, ни ему. Мне не нужно, чтобы твой отец страдал. Мёртвый или сломленный старик мне бесполезен — он не сможет смотреть, как его дочь живёт со мной по контракту, и не сможет понимать, что ничего не в силах изменить. — Я наклонился чуть ближе. — Мечь, Алиса, — это не когда враг страдает. Это когда враг бессилен. А твой отец будет совершенно бессилен — и совершенно ни о чём не догадается. Это и есть самое сладкое.

Она смотрела на меня так, будто видела впервые. И, может быть, так оно и было. Тот мальчишка, которого она знала, не умел рассуждать о мести с такой холодной точностью. Этого человека сделала она.

Она подняла на меня глаза. Светло-серые, настороженные.

— А вторая?

— Вторая часть — ты.

Я смотрел, как до неё доходит. Как расширяются её зрачки, как кровь отливает от лица, а потом приливает обратно, заливая щёки. Этот румянец — я помнил его. Он заливал её скулы, когда она злилась, и когда смущалась, и когда я целовал её там, где целовать было нельзя. Видеть его снова, через семь лет, через весь этот мрамор и стекло, было как получить под дых.

— Один год, — продолжил я тем же ровным тоном. — Двенадцать месяцев. Ты переезжаешь ко мне. На людях — мы пара. Помолвлены. Идеальная невеста идеального человека. Приёмы, фотографии, светская хроника — ты играешь свою роль безупречно. — Я наклонился чуть вперёд. — А дома, Алиса, ты — моя. Полностью. По моим правилам. Когда я захочу и как я захочу. Год. И долг твоего отца — и тот, что в деньгах, и тот, другой, — будет считаться закрытым.

Я произнёс это ровно, не повышая голоса, тем тоном, которым закрывают сделки. Но внутри у меня всё гудело от напряжения, и я молился, чтобы это не отразилось на лице. Потому что в ту секунду, когда я сказал «ты — моя», что-то во мне дёрнулось — не от торжества, а от чего-то совсем другого, древнего и неуместного. Я ждал этих слов семь лет. Я представлял, как произношу их. И вот произнёс — и обнаружил, что они на вкус не как победа, а как голод, который только что назвали по имени.

Тишина в кабинете стала плотной, как вода. Я слышал, как город гудит далеко внизу.

Я наблюдал за ней так, как наблюдают за стрелкой на весах: куда качнётся. По её лицу прошла целая буря — недоверие, ужас, ярость, и под всем этим, на самом дне, мелькнуло что-то ещё, чему я не дал названия, потому что не имел права давать. Я ждал слёз. Я готовился к слезам — геретировал, как приму их, как останусь холоден. Чего я не предусмотрел, так это что её первой реакцией будет не страх и не мольба.

— Один год, — повторила она ровно, будто пробуя слова на вкус. — На людях — невеста. Дома — твоя. — Она подняла на меня глаза, и в них стояла такая отполированная, такая ледяная ненависть, что я почти ею залюбовался. — Ты хоть понимаешь, как это называется, Марк? У того, что ты предлагаешь, есть очень короткое и очень некрасивое слово.

— У того, что я предлагаю, — сказал я, не отводя взгляда, — есть подпись внизу страницы и срок ровно в триста шестьдесят пять дней. Всё остальное — твои интерпретации.

Она медленно встала. Я думал, она сейчас закричит, вцепит мне пощёчину, швырнёт что-нибудь. Я почти хотел этого. Вместо этого она сказала очень тихо, очень спокойно, и от этого спокойствия мне самому стало не по себе:

— Ты хочешь меня купить.

— Я хочу, чтобы ты заплатила, — поправил я. — Разница есть. Купить можно вещь. А заплатить — это про долг. Ты задолжала мне, Алиса. Не деньги. Кое-что подороже. И я намерен получить это сполна.

— За что? — Её голос наконец сорвался, дрогнул на этом коротком слове, и в нём было столько настоящего непонимания, что я на долю секунды усомнился. На долю секунды. — Заплатила за что, Марк?

Вопрос повис в воздухе, и я смотрел на неё, и во мне что-то медленно проворачивалось, как ключ в заржавевшем замке. «Заплатила за что». Будто она действительно не знала. Будто та ночь, которая раскроила меня надвое, для неё была — что? Эпизод? Лёгкое неудобство, давно забытое? Я готовился к её вине, к мольбам, к слезам раскаяния. Я не готовился к тому, что она посмотрит на меня и спросит «за что», как спрашивают о чужом, непонятном горе.

И вот тут — впервые — я почувствовал, как трещина проходит по моему собственному спокойствию.

Потому что она спрашивала так, будто действительно не знала. Будто та ночь, которая сожгла меня дотла, для неё ничего не значила и она даже не понимала, о чём речь. И это было хуже любого ответа. Это было подтверждением всего, во что я заставил себя поверить: что она ушла легко. Что не оглянулась. Что я был для неё ничем.

Старая ярость поднялась во мне, чистая и холодная, и я ухватился за неё, как за поручень. Ярость я понимал. Ярость держала меня на плаву семь лет. Стоило ей дать слабину — и я начинал слышать тот тихий рассудительный голос, который шептал, что человек, способный задать вопрос «за что?» с таким искренним непониманием в глазах, возможно, не виноват в том, в чём я его обвинял. Я заглушил голос. Я делал это так часто, что почти не замечал, как.

— Подумай до утра, — сказал я, вставая. Разговор был окончен. — Завтра в девять либо подписанный контракт лежит у меня на столе, либо я отдаю команду юристам. — Я застегнул пиджак. — Выбор за тобой. У тебя ведь всегда был выбор, правда, Алиса? Ты просто привыкла делать его, не спрашивая других.

Она смотрела на меня, и в её глазах стояли слёзы, которым она не давала пролиться, и я ненавидел себя за то, что часть меня — старая, мёртвая, как мне казалось, часть — хотела стереть эти слёзы большим пальцем. Эта часть меня умела только одно: тянуться к ней. Семь лет я держал её взаперти, я думал, что заморил её голодом, что от неё остались одни кости. Хватило одного взгляда на её мокрые ресницы, чтобы она зашевелилась в своей клетке.

Я отступил на шаг. Просто чтобы не стоять так близко. Чтобы между нами снова был воздух, расстояние, контроль.

— Я тебя ненавижу, — прошептала она.

— Знаю, — сказал я. И, видит бог, я не соврал, когда добавил: — Это нас уравнивает.

Она ушла, не оглянувшись. Дверь закрылась за ней мягко, бесшумно — здесь всё закрывалось бесшумно.

Я остался стоять у окна, глядя на догорающий город, и заметил, что у меня дрожат руки. Я сжал их в кулаки и держал, пока дрожь не прошла.

Я подошёл к бару, налил себе на два пальца — то, чего почти никогда себе не позволял, — и не выпил. Просто держал стакан, смотрел, как янтарная жидкость ловит последний свет, и прокручивал в голове её последний взгляд. «Я тебя ненавижу». Я ждал этих слов и всё равно почувствовал укол, тонкий, как игла. Глупо. Я сам построил всё так, чтобы она меня ненавидела. Я предложил ей контракт, от которого порядочный человек должен был плюнуть мне в лицо. Чего я ждал — благодарности?

Нет. Я ждал капитуляции. И я её получу — завтра, в девять, в виде её подписи на листе, который я переписывал семь раз. Так почему же я стоял у окна с нетронутым стаканом в руке и чувствовал не торжество, а что-то похожее на тошноту?

Я вылил виски в раковину, не пригубив. Контроль. Прежде всего контроль. Отец пил, чтобы заглушить то, что не мог вынести. Я поклялся, что никогда не стану таким, и держал клятву свирепо: ни одной лишней рюмки, ни одной потерянной ночи. Сегодня соблазн был сильнее обычного — и именно поэтому я вылил стакан. Я не доставлю отцу, давно лежащему

в земле, удовольствия увидеть, как сын повторяет его путь. Даже из могилы — особенно из могилы.

Семь лет. Я ждал семь лет. И вот она была почти моей — а я почему-то чувствовал себя не победителем, а человеком, который только что поджёт собственный дом, чтобы согреться.

Я сел за стол, придвинул к себе ноутбук и до глубокой ночи занимался делами «Корсаков-Стекло» — расчётами, графиками вливаний, планом обновления линии. Странное дело: спасая завод, который ненавидел, ради женщины, которую должен был ненавидеть, я работал с азартом, какого не чувствовал давно. Я говорил себе, что это просто инструмент мести. Что я отстраиваю клетку, в которую её посажу. И не позволял себе додумать, что на самом деле, может быть, впервые за семь лет я что-то строю, а не разрушаю.

За окном погас последний свет в соседней башне. Я остался один на сорок третьем этаже, наедине с городом и с подписанным завтрашним днём. И уснул прямо в кресле, под утро, и впервые за долгое время мне ничего не снилось — будто что-то внутри наконец затихло в ожидании.

Глава 5. Алиса

«Подпись»

Я не помню, как доехала до Каменноборска. Помню только, что в окне поезда плыла темнота, и в этой темноте моё отражение смотрело на меня глазами загнанного зверя, и я отвернулась, чтобы не видеть его.

В соседнем кресле женщина кормила ребёнка печеньем и тихо смеялась чему-то в телефоне. Через проход храпел мужчина в спортивном костюме. Жизнь шла своим чередом, обыкновенная, тёплая, и от этой обыкновенности мне хотелось завывать, потому что моя собственная жизнь только что сошла с рельсов и катилась под откос, а вагон вокруг этого даже не заметил.

Вагон пах растворимым кофе из автомата, чужими бутербродами, разогретым пластиком. За окном тянулись поля, потом перелески, потом снова поля, размытые скоростью, серые в сумерках. Я ехала домой — и не понимала больше, где этот дом. Семь лет назад я бежала из Каменноборска, поклявшись не возвращаться. Город стал для меня сплошной незаживающей раной: каждая улица, каждый поворот хранил его, восемнадцатилетнего, и нашу любовь, которую я предала. А теперь я возвращалась — и не к маме, не к больному отцу, а в плен к человеку, которым стал тот мальчик. Жизнь умеет шутить жестоко. Она замкнула круг и завязала его узлом на моей шее.

Я достала из сумки папку — свою, с расчётами, над которыми просидела всю ночь. Тот самый план оздоровления, который должен был всё спасти. Я смотрела на аккуратные колонки цифр, на графики, на выверенные формулировки, и они вдруг показались мне трогательными и жалкими, как детский рисунок. Я принесла в его кабинет арифметику. А он играл в другую игру, по другим правилам, и в этой игре цифры не значили ничего. Я медленно убрала папку обратно. Больше она была не нужна.

«Дома ты — моя. Полностью. По моим правилам».

Я прокручивала эти слова всю дорогу, и каждый раз меня бросало то в жар, то в холод. Унижение было таким огромным, что не помещалось внутри, выплёскивалось наружу горячими волнами стыда. Как он смел. Как он смел превратить меня в строчку контракта, в товар, в способ свести какие-то свои счёты, которых я даже не понимала.

«Заплатила за что, Марк?»

Я задала этот вопрос в его кабинете не из дерзости. Я задала его потому, что в нём, в этом вопросе, была спрятана вся бездна между тем, что знал он, и тем, что знала я. Он был уверен, что я понимаю, за что он мстит. А я понимала только одно: что он не знает правды. Что он построил эту чудовищную месть на лжи, которую я сама ему когда-то скормила, чтобы спасти его. И что распутать этот узел нельзя, не выдернув ниточку, на которой висела жизнь моего отца.

Я правда не знала. Вот что сводило с ума. Я знала свою вину — я несла её семь лет, как камень, вшитый под рёбра. Но моя вина была не той, в которой он меня обвинял. Он смотрел на меня так, будто я разбила ему жизнь из каприза, от скуки, потому что наигралась. Если бы он только знал. Если бы он только знал, что та ночь стоила мне всего, что у меня было.

Я закрыла глаза и прислонилась виском к холодному стеклу. И, как всегда в такие минуты, память сама подсунула мне ту ночь — целиком, без спроса. Лето. Запах скошенной травы в окно. Мне девятнадцать, я только что вернулась со склада, где мы с ним строили планы на жизнь, в которую оба верили. И отец, ждущий меня на тёмной кухне, со сложенными на столе руками и тем выражением лица, которое я запомнила навсегда. «Сядь, Алиса. Нам нужно поговорить о твоём мальчике». Я тогда ещё улыбнулась — наивно, счастливо, — думая, что он смягчился, что хочет познакомиться. А он положил передо мной папку и сказал, что в ней. И моя улыбка умерла, и вместе с ней умерла девочка, которая верила, что любовь сильнее всего на свете.

Я открыла глаза. Поезд стучал на стыках. Хватит. Дальше нельзя — дальше начиналось то, о чём я не позволяла себе думать, чтобы не развалиться.

Но я не могла ему сказать. Не могла тогда, не могла сейчас. Потому что правда тянула за собой моего отца, а отец лежал в палате с трубками, и одно неосторожное слово могло его убить.

Я прокрутила в голове все варианты — я всегда так делаю, раскладываю на сценарии, как раскладывают пасьянс. Сценарий первый: я рассказываю Марку правду. Что семь лет назад я ушла не потому, что наигралась, а потому, что мой отец загнал меня в угол не хуже, чем теперь Марк загнал его. Что выбор стоял не между «остаться» и «уйти», а между жизнью Марка и моей любовью к нему, и я выбрала его жизнь. Но эта правда означала бы выдать отца — рассказать, на что он был готов пойти, какими методами, и кто знает, до чего бы дошёл Марк в своей мести, узнав это. Нет. Этот сценарий вёл только к новой крови.

Сценарий второй: я молчу. Несу свою вину дальше, как несла семь лет. Отыгрываю его контракт, отдаю год, ухожу. Отец жив, завод спасён, Марк получает свою месть и, может быть, наконец отпустит прошлое. Все целы. Кроме меня — но я в этом уравнении всегда стояла в графе «издержки».

Второй сценарий был хуже для меня и лучше для всех. Я выбрала его. Я всегда выбирала его. Иногда мне казалось, что вся моя жизнь — это длинная череда выборов в пользу всех, кроме себя, и я уже не помнила, умею ли выбирать иначе.

Дома мать не спала — ждала меня у окна, как в детстве. Я увидела жёлтый прямоугольник кухонного окна ещё с улицы, и силуэт в нём, и у меня сжалось сердце. Сколько раз за эти семь лет она вот так сидела у окна, ожидая дочь, которая не приезжала?

Я сказала ей, что встреча прошла «обнадеживающе», что инвестор «рассматривает варианты», и улыбнулась так убедительно, что сама почти поверила. Я хорошо научилась лгать лицом — этому учит работа, где половина успеха в том, чтобы сохранять покер-фейс, когда внутри всё горит. Но матери лгать было особенно мерзко, потому что она верила мне сразу, безоговорочно, с той детской доверчивостью, с какой родители верят выросшим детям.

— Я знала, — прошептала она, и глаза у неё заблестели. — Я знала, что ты сможешь. Ты у меня умница. — Она взяла моё лицо в ладони, тёплые, пахнущие тестом, и вгляделась. — Отец-то как обрадуется. Только... — Она запнулась. — Только ему пока не говори, ладно? Пусть окрепнет.

— Не скажу, мам, — сказала я.

Ещё одна ложь поверх первой. Они копились во мне, эти ложь, слой за слоем, и я уже не знала, осталось ли под ними что-то настоящее.

Она расцеловала меня, назвала своей спасительницей, и от этих слов мне хотелось содрать с себя кожу.

Ночью я сидела в кабинете отца, с контрактом перед собой, и считала. Я аналитик. Я свожу всё к цифрам, когда чувства становятся невыносимыми, — это мой способ выживать.

Если я откажусь: завод обанкротят. Четыреста человек — на улицу. Семьи, дети, ипотеки, старики. Город, где других рабочих мест нет, медленно умрёт, как уже умирают десятки таких городков. Отец, узнав, не переживёт. Мать останется одна, без денег, в заложенном доме.

Если я соглашусь: один год. Триста шестьдесят пять дней. Я взрослая женщина, я сильная, я переживала вещи и похуже. Один год унижения — и всё спасено. Все, кроме меня.

Я выписала оба варианта на лист — буквально, в две колонки, как делала на работе, когда нужно было принять решение, от которого зависели чужие деньги и судьбы. «За» и «против». Только теперь в колонках стояли не цифры, а люди: отец, мать, мастер Палыч, которого я помнила с детства, его сын, их внук, четыреста семей, которых я даже не знала по именам. А в другой колонке стояла одна-единственная строчка: я. Один человек против четырёхсот. Любой аналитик закрыл бы эту сделку не глядя — и я закрыла бы, будь это чужая жизнь.

Беда в том, что это была моя жизнь. И впервые за долгие годы я поймала себя на крамольной мысли: а что, если хоть раз поставить себя в колонку «за»? Что, если не приносить себя в жертву, как я делала всегда? Мысль мелькнула — и погасла. Я не умела иначе. Меня такой воспитали, и я слишком хорошо усвоила урок.

Это была не задача с выбором. Это была задача с одним решением, которое притворялось выбором.

И всё же я сидела над ним почти до рассвета. Потому что одно дело — понимать решение умом, и совсем другое — заставить руку его исполнить. Я думала о том, что значит «дома ты — моя». Я прокручивала эти слова и так и эдак, и каждый раз внутри всё переворачивалось — от унижения, от страха и, к моему стыду, от чего-то ещё, от чего-то тёмного и горячего, что я гнала прочь и что возвращалось. Я представляла его руки. Его голос, ставший ниже. То, как он смотрел на мои губы в кабинете, на одну секунду, прежде чем спрятать взгляд.

Прекрати, приказала я себе. Это не желание. Это ловушка. Он хочет, чтобы ты сама пришла, сама захотела, — он же сказал, прямым текстом, что не берёт того, что не отдают. Это часть его мести: заставить тебя предать саму себя. Не дай ему. Подпиши бумагу, но не отдавай ему ни грамма себя настоящей. Отдай ему оболочку. Отдай ему год. Себя — не отдавай.

Я взяла ручку.

И вот тут руки меня подвели. Я сидела над строчкой для подписи, и ручка не двигалась, потому что подписать это означало признать, что Марк выиграл. Что мальчик, которого я когда-то любила и ради которого пожертвовала собой, вернулся, чтобы превратить эту жертву в насмешку. Что всё было зря.

«Это нас уравнивает», — сказал он про ненависть.

Нет, подумала я, и что-то твёрдое и злое поднялось во мне сквозь стыд. Нет, Марк Воронов. Ты думаешь, что купил меня. Ты думаешь, что я приду к тебе сломленная, на коленях. Но ты забыл одну вещь. Ты забыл, кто я.

Я не сломаюсь. Я подпишу твой проклятый контракт, я отыграю твою идеальную невесту так, что комар носа не подточит, я отдам тебе свой год — но я не отдам тебе себя. Ту меня, которая внутри. Её ты не получишь, потому что её невозможно купить. И когда этот год закончится, я уйду с высоко поднятой головой, а ты останешься со своей пустой башней и своей пустой местью, и поймёшь, что так ничего и не выиграл.

Я подписала.

Буквы вышли ровными и твёрдыми. Алиса Корсакова. Я смотрела на свою подпись и чувствовала странное, ледяное спокойствие человека, который прыгнул и теперь просто ждёт встречи с землёй.

Семь лет назад я тоже приняла решение ночью, в темноте, одна. Тогда я собирала чемодан. Теперь — продавала год своей жизни. И там, и там я делала это ради других, и там, и там

убеждала себя, что у меня нет выбора. Может, отец был прав, когда говорил, что я слишком на него похожа. Мы оба умели приносить себя в жертву так, чтобы это выглядело как сила, а не как трусость. Иногда я переставала различать, где одно, где другое.

Я подняла глаза к окну. Светало. Яблоня за стеклом стояла серая в предрассветной мгле, и на ней уже завязывались мелкие зелёные яблоки — те самые, из которых мать испечёт пирог. К тому времени, как они созреют, я буду жить в чужом доме, в чужой жизни, носить чужое кольцо. Я провела ладонью по лицу. Ну что ж, Корсакова. Ты сама это выбрала. Теперь держи спину прямо.

Утром я отправила скан на адрес, указанный в контракте. Ответ пришёл через двадцать минут — не от него, от какого-то ассистента. Сухой, безличный.

«Господин Воронов подтверждает получение. Машина за вашими вещами прибудет в субботу в 10:00. Список разрешённого к перевозу прилагается».

Список разрешённого. Будто я не человек, а груз. Я прочитала список — одежда, личные вещи, ничего объёмного, «остальное будет предоставлено», — и меня снова обдало жаром унижения, но я загнала его внутрь. Я уже научилась его прятать.

Следующие два дня я провела как в тумане. Ездила к отцу в больницу — его уже перевели из реанимации в палату, он был жёлто-бледный, осунувшийся, но живой, и при виде меня его лицо дрогнуло. «Приехала, — сказал он хрипло. — Зря только. У меня всё под контролем». Гордость. Даже на больничной койке, опутанный проводами, он не мог признать, что тонет. Я держала его сухую руку и улыбалась, и говорила, что соскучилась, что просто в отпуск, и видела, что он не очень-то верит, но позволяет себе поверить, потому что так легче. Мы с ним были похожи больше, чем мне хотелось признавать: оба ввали из любви и оба называли это заботой.

Я смотрела на его руку в своей — большую когда-то, тяжёлую, способную одним движением решить судьбу человека, а теперь высохшую, в пигментных пятнах, с синяком от катетера. И во мне поднималось всё разом: и старая, не остывшая обида на то, что он сделал семь лет назад, и эта новая, выворачивающая нежность к умирающему отцу, и вина, и любовь, и злость. Я так и не научилась его ненавидеть, как бы ни старалась. В этом была вся беда. Он сломал мне жизнь — и я всё равно сидела у его койки и держала его за руку, потому что он был мой отец, и потому что я была сделана из той же породы, что и он: из людей, которые любят разрушительно и называют это правильным.

«Зря приехала», — сказал он. И я подумала: знал бы ты, отец, какой ценой. Знал бы ты, к кому я возвращаюсь и почему. Но он не знал и не узнает. Это была единственная милость, которую я ещё могла ему оказать.

В субботу я попрощалась с матерью. Сказала ей, что инвестор предложил мне работу в городе, в своём холдинге, что я буду близко, что смогу часто приезжать. Сказала, что нам очень повезло. Она плакала от счастья и облегчения, и я обнимала её и смотрела поверх её плеча на яблоню за окном, и думала о том, что снова уйду из этого дома ради того, чтобы кого-то спасти, и снова не могу сказать правду.

Машина была чёрной, длинной и бесшумной, как всё в его мире. Водитель в перчатках открыл мне дверь. Я обернулась на дом — на покосившуюся калитку, на яблоню, на мать, махавшую мне с крыльца платком, маленькую и счастливую в своём неведении, — и впервые за всю эту историю едва не сломалась. Едва не бросила чемодан и не побежала обратно, в кухню с клеёнкой в цветочек, где всё было понятно и безопасно.

Я не побежала. Я улыбнулась матери, помахала в ответ и села в машину. Я давно усвоила: если очень хочется побежать назад, в безопасное и тёплое, — значит, как раз туда и нельзя. Жизнь не пускала меня в тёплое уже семь лет. Я перестала на него рассчитывать. Я научилась идти вперёд, в холод, с прямой спиной, и называть это взрослостью.

Я села на кожаное сиденье, поставила чемодан в ноги — один чемодан, как семь лет назад, только тогда я бежала от него, а теперь меня везли к нему, — и город поплыл за тонированным стеклом. Мимо проплыла аптека, бывшая булочной. Памятник, у которого мы целовались. Поворот к реке, к старому складу за третьим цехом. Весь мой Каменноборск, разложенный вдоль дороги, как открытки из жизни, которую я однажды уже бросила и в которую теперь возвращалась — но не к ней, а в её жестокую, вывернутую наизнанку версию.

В кармане завибрировал телефон. Сообщение. Незнакомый номер, но я знала, чьё.

«Добро пожаловать домой, Алиса».

Я стиснула зубы и не ответила. Но руки у меня дрожали, и я спрятала их под сумку, чтобы не видел водитель.

Глава 6. Марк

«Правила»

Она вошла в мой дом в субботу в полдень, и дом сразу стал другим. Не лучше, не хуже — другим, как становится другой комната, в которую внесли огонь: всё на тех же местах, но тени легли иначе, и воздух задвигался. Я не сразу понял, что произошло. Понял только к ночи, когда остался один в западном крыле и впервые за три года не смог уснуть в тишине, которую сам же и купил.

Я купил его три года назад — особняк за городом, на холме над рекой, стекло и светлый камень, продуманный до последнего выключателя одним очень дорогим архитектором, которому я сказал: «Сделай так, чтобы было тихо». Он сделал. В этом доме было тихо, как в музее, и так же безжизненно. Тридцать комнат, в которых я пользовался четырьмя. Бассейн, в котором я плавал по утрам, чтобы загнать себя в усталость. Винный погреб, к которому я почти не прикасался. Картины, которые мне подобрал консультант, потому что у людей моего положения должны быть картины. Дом был витриной успеха, в которой жил один человек, и этот человек давно перестал замечать, что живёт в витрине.

Я никогда об этом не думал, пока не услышал, как её каблуки стучат по каменному полу холла, — и вдруг тишина, в которой я прожил три года, стала оглушительной по контрасту. Один-единственный звук чужих шагов — и весь мой выверенный, дорогой, мёртвый покой обнажил себя тем, чем был на самом деле: пустотой.

Я встретил её в гостиной. Стоял у окна — я заметил, что слишком часто стою у окон, будто всё время кого-то жду, — и обернулся, когда она вошла.

Она переделалась с дороги. Простое тёмное платье, волосы распущены — впервые я видел их распущенными за эти дни, тяжёлые, с медным отливом там, где их касался свет, — и от этого она вдруг стала меньше похожа на отчёт и больше на ту девочку, и мне это не понравилось. С отчётом было проще. Отчёт не напоминал мне о высокой траве за городом, о том, как эти самые волосы рассыпались по моей груди в одну августовскую ночь, когда мне было восемнадцать и я думал, что бессмертен.

Она остановилась в нескольких шагах, поставила чемодан у ноги. Не выпустила ручку. Этот маленький жест — пальцы, сжавшие ручку чемодана, как сжимают что-то единственное своё на враждебной территории, — сказал мне больше, чем все её колкости. Она вошла в мой дом, как входят в плен: с прямой спиной и с готовностью к худшему.

Хорошо, подумал я и тут же возненавидел себя за то, что это «хорошо» прозвучало внутри неубедительно.

— Добро пожаловать, — сказал я и сам услышал, как фальшиво это прозвучало в стенах дома, который я превратил в её клетку. Я не умел приветствовать. Меня никто никогда толком не приветствовал — ни дома, где встречали кулаком, ни потом, когда я пробивался наверх и меня встречали оценивающим прищуром. — Экономка проводит тебя в твою комнату. Восточное крыло. Твоё. Я в западном.

Она вскинула подбородок. Этот жест. Я помнил этот жест.

— Я думала, по контракту я твоя «полностью», — сказала она с холодной издёвкой. — А оказывается, у нас отдельные спальни. Какое облегчение.

— Контракт вступает в силу, когда я скажу. — Я подошёл ближе, и она не отступила, хотя я видел, чего ей это стоило. — Я не беру то, что мне не отдадут по-настоящему, Алиса. Это было бы... — я поискал слово, — неинтересно.

— А, — она усмехнулась, и усмешка вышла кривой, одним углом рта, и старая, давно похороненная часть меня дрогнула от этой знакомой кривизны. — Тебе, значит, нужно, чтобы я сама. Чтобы было слаще.

— Я не сказал «слаще», — ответил я ровно.

— Тебе и не надо было. — Она усмехнулась снова, но в глазах мелькнула растерянность. — То есть благородство. Ты хочешь, чтобы я думала, будто ты благородный. Не насилуешь — ждёшь, пока сама приду. Очень удобно. Так вся вина на мне, да?

Удар был точным. Я почувствовал, как у меня дёрнулась мышца на скуле, и заставил её замереть.

— Мне нужно, — сказал я тихо, — чтобы ты помнила, что согласилась. Каждый день. Сама.

Что-то мелькнуло в её глазах — не страх, что-то острее. Понимание, может быть. Она была слишком умна, чтобы не разглядеть, что под жестокостью условия пряталась его обратная сторона: я не просто хотел власти над ней. Я хотел, чтобы она пришла. Чтобы выбрала. Чтобы то, что когда-то она отняла, не спросив, она вернула — добровольно. Это было слабостью, замаскированной под силу, и я молился, чтобы она этого не разглядела. Судя по тому, как сузились её глаза, молитва запоздала.

Я отступил первым, потому что стоять так близко к ней было ошибкой, и взял со стола кожаную папку.

— Правила, — сказал я, протягивая ей лист.

Она взяла его двумя пальцами, будто брезговала. Я смотрел, как движутся её глаза по строчкам — туда-сюда, туда-сюда, — и как с каждой строкой её челюсть сжимается чуть сильнее. Я знал текст наизусть. Я писал его сам, ночью, один, и каждое слово в нём было крепостной стеной, за которой я прятался. Со стороны это выглядело как договор хозяина с собственностью. На деле это была инструкция по самозащите, написанная человеком, который смертельно боялся того единственного, что могло его уничтожить, — её.

Правило первое: на публике мы — пара, и ни один человек никогда не должен усомниться в этом. Правило второе: никаких других мужчин, ни намёка, год эксклюзивности в обе стороны.

— Эксклюзивность в обе стороны, — повторила она, приподняв бровь. — То есть и ты тоже? Я думала, мужчинам вроде тебя положено иметь... разнообразие.

— Мне не положено ничего, кроме того, что я сам себе позволяю, — ответил я. — А я не делю. Ни своё, ни себя.

Что-то в моём тоне, видимо, задело её, потому что она быстро опустила глаза обратно к листу. «Ни своё, ни себя». Я не собирался говорить это вслух. Это вырвалось — и прозвучало куда обнажённое, чем я хотел.

Правило третье: она присутствует на всех мероприятиях, которые я укажу, в том, что я выберу. Я смотрел, как при этих словах она снова сжала губы, и понимал, как это звучит для неё: я выберу платье, я выберу место, я выберу, какой ей быть. Я не стал объяснять, что дело не во власти над её гардеробом. Дело в том, что мир, в который я её ввожу, ест таких заживо, если они приходят неподготовленными, и единственный известный мне способ защитить — это контроль. Я всю жизнь защищался контролем. Других способов не знал.

Правило четвертое: то, что происходит в этом доме, остаётся в этом доме. Правило пятое...

— «Правило пять, — прочитала она вслух, и голос у неё похолодел. — Никаких вопросов о прошлом». — Она подняла на меня глаза. — Удобно. Ты можешь сколько угодно намекать на свои загадочные счёты, а я не имею права спросить, в чём, собственно, дело.

— Именно.

— Это трусость, Марк.

Слово ударило точнее, чем она думала. Я почувствовал, как напряглась челюсть, и заставил лицо остаться неподвижным.

— Это условие, — сказал я. — Не нравится — дверь там же, где вошла. Юристы ждут отмашки.

Это была ложь, и, кажется, она это почувствовала. Никаких юристов я бы не спустил — я бы скорее перенёс срок, переписал условия, сделал что угодно, лишь бы она не ушла обратно через ту дверь. Но угроза была единственным языком, на котором я умел с ней говорить, не выдавая себя. Правда была слишком опасна. Правда лежала в графе, которую я сам себе запретил.

Мы смотрели друг на друга через метр воздуха, который трещал от напряжения, как провод под нагрузкой. Я ждал, что она бросит лист, развернётся, уйдёт. Часть меня — я уже не мог понять какая — этого хотела.

Несколько секунд она молчала, и я видел, как в ней борются гордость и расчёт. Я знал эту борьбу — сам вёл её каждый день. Уйти означало предать отца. Остаться означало предать себя. Между двумя предательствами не выбирают с лёгким сердцем.

Она аккуратно положила лист на стол. Разгладила его ладонью. И посмотрела на меня снизу вверх с такой ровной, отполированной ненавистью, что я почти восхитился.

— Хорошо, — сказала она. — Твои правила. Но раз уж мы составляем список, я добавлю своё. Правило шесть. — Она шагнула ко мне, и теперь уже она нарушала дистанцию, и я заставил себя не двинуться. — Ты можешь получить мой год. Моё лицо на твоих приёмах, мою улыбку для твоих камер, моё имя рядом с твоим. Но ты не получишь ни одной слезы. Ни одной. Я не доставлю тебе этого удовольствия. Что бы ты ни делал.

Она была так близко, что я снова чувствовал её запах, и видел маленький шрам у её большого пальца, и крошечную жилку, бьющуюся у неё на шее, выдававшую, что всё её спокойствие — броня, под которой бешено колотится сердце. И я понял с неприятной ясностью, что этот год будет не таким, как я планировал. Я планировал сломать стену. Я не учёл, что за семь лет она построила свою.

Ни одной слезы. Я смотрел в её упрямые серые глаза и понимал, что она не блефует. Она скорее сгорит изнутри, чем даст мне увидеть, как ей больно. И это было — я с трудом признался себе — именно то, чего я не выносил и чем восхищался в ней одновременно. Я мечтал о её слезах семь лет. А теперь, когда мне их пообещали не давать, я вдруг понял, что слёзы были мне нужны не для торжества. Они были нужны как доказательство, что ей не всё равно. Что я хоть что-то для неё значу. Даже теперь. Даже так.

Какая ирония. Я выстроил всё это, чтобы поставить её на колени, — а на деле выпрашивал у неё, как нищий, единственную монету: чтобы ей было не всё равно.

— Договорились, — сказал я.

— Договорились, — отозвалась она.

И первой отвела взгляд — но не потому, что проиграла. Потому что услышала шаги экономки и мгновенно, как по команде, сменила лицо: спина прямее, плечи мягче, на губах — тёплая, светлая, абсолютно фальшивая улыбка, от которой у меня по спине прошёл холодок, потому что она была безупречна.

— Покажете мне комнату? — пропела она экономке голосом, в котором не осталось ни следа той женщины, что секунду назад обещала мне войну.

Она была хороша. Чертовски хороша.

Вечером нас ждал ужин — первый под одной крышей. Я велел накрыть в малой столовой, не в парадной: парадная была для приёмов, а здесь предстояло что-то иное, чему я ещё не подобрал названия. Экономка зажгла свечи — я не просил, она сделала это сама, по какому-то своему женскому разумению, и я не стал отменять, хотя свечи между нами выглядели издёвкой. Романтика для двоих, которые объявили друг другу войну. Огонь, который должен был согревать, а вместо этого только отбрасывал на стены наши длинные, настороженные тени.

Алиса спустилась к восьми, переодевшись во что-то домашнее, и села напротив. Мы ели молча. Звякали приборы о фарфор, потрескивали свечи, за окном синели сумерки над рекой. Я ловил себя на том, что наблюдаю за ней украдкой: как она держит вилку, как отводит прядь за ухо, как пробует вино и едва заметно одобрительно приподнимает бровь — против воли, и тут же хмурится, словно поймав себя на недопустимом.

Стол был слишком длинный. Я заметил это только сейчас, глядя на неё через полированную пустыню тёмного дерева. Дорогой стол, который мне когда-то подобрал тот же консультант, что и картины, — на двенадцать персон, для приёмов, которых я почти не устраивал. Мы сидели на противоположных концах, как два дуэлянта, отмеривших дистанцию, и расстояние между нами было таким, что приходилось чуть повышать голос, чтобы быть услышанным. Я подумал, что надо бы велеть накрывать ближе. И тут же подумал, что близость — это последнее, что мне нужно. И оставил всё как есть.

Она ела мало. Я заметил и это — она всегда ела мало, когда нервничала, я помнил это с того лета, помнил, как подсовывал ей то яблоко, то горбушку, потому что она забывала про еду, увлечшись разговором. Сейчас под этими свечами, в этом мёртвом доме, я едва удержался, чтобы не сделать этого снова — не пододвинуть ей хлеб, не сказать «поешь». Я сжал в кулак руку под столом. Некоторые привычки умирают последними. А некоторые, как выяснилось, не умирают вовсе.

— Ты по-прежнему не любишь рыбу, — сказал я. Не спросил. Просто отметил, глядя, как она отодвигает кусок к краю тарелки.

Она замерла. Подняла на меня глаза — настороженные, потемневшие.

— Не помню, чтобы делилась с тобой своими гастрономическими предпочтениями, господин Воронов.

— Ты и не делилась. — Я отпил вина. — Я помню.

Что-то дрогнуло в её лице — на мгновение, прежде чем она снова закрылась. Этот мелкий, незначительный факт — что я помню, что она с детства не выносит рыбу, — оказался опаснее любого правила в моём списке. Потому что он выдавал то, что списком не пропишешь: что все эти годы её мелочи жили во мне, нетронутые. Я разозлился на себя за то, что проговорился. Она — за то, что слышала.

Остаток ужина мы провели в молчании, которое было громче любого скандала. Свечи догорали. Где-то в доме тикали часы, которых я раньше не замечал. Я смотрел в свою тарелку и думал, что за все три года в этом доме это был первый ужин, который я не съел в одиночестве, — и что одиночество вдвоём оказалось куда тяжелее одиночества одного.

Я смотрел, как она поднимается по лестнице — прямая спина, распущенные волосы, чемодан, который она так и не позволила нести никому, — и впервые за семь лет почувствовал не голод и не торжество, а что-то холодное и тревожное, похожее на предчувствие.

Я выстроил идеальную ловушку. Я только не был уверен теперь, кто в неё попался.

Я не пошёл спать. Я обошёл дом — медленно, комнату за комнатой, как обходит хозяин свои владения перед сном. Только сегодня владения были другими. В воздухе восточного крыла висел едва уловимый след её духов — цитрус и тёплая ваниль, — и этот запах преследовал меня по коридору, как улика. На столике у лестницы лежала её перчатка, которую она обронила. Я поднял её, повертел в пальцах. Тонкая кожа, ещё хранящая форму её руки. Я

держал эту перчатку дольше, чем имел право, а потом аккуратно положил обратно, ровно туда, где она лежала, будто заметал следы преступления, которого ещё не совершил.

Поднявшись к себе, в западное крыло, я долго стоял у окна. Между нами теперь был целый дом — тридцать комнат, два коридора, лестница. Я сам так распорядился. Я сказал себе, что это часть игры: держать её близко и недосыгаемо, чтобы каждый день она помнила, на что согласилась. Но правда была проще и унижительнее. Я развёл нас по разным крыльям, потому что не доверял себе. Потому что одно дело — мстить женщине из своих фантазий, и совсем другое — спать через стену от живой Алисы, чьи шаги я слышал, чей запах витал в коридоре, чья перчатка всё ещё хранила тепло руки.

Я лёг, не раздеваясь, поверх покрывала, и смотрел в тёмный потолок, и слушал дом. Где-то далеко, в восточном крыле, скрипнула половица — она тоже не спала. Я знал это так же точно, как если бы видел её сквозь стены: лежит, глядя в свой потолок, и думает обо мне с той же отравленной смесью, с какой я думаю о ней. Два бессонных человека на разных концах огромного пустого дома, разделённые тридцатью комнатами и семью годами, и оба делают вид, что эти стены способны их защитить.

Семь лет я строил эту месть. И в первую же ночь под одной крышей с ней понял, что самый опасный человек в этом доме — не она. Я.

Глава 7. Алиса

«Спектакль»

Первый выход в свет состоялся через девять дней. Девять дней — ровно столько ему понадобилось, чтобы решить, что я готова к показу. Так выставляют на витрину новую вещь: сначала пусть привыкнет к дому, обживётся, перестанет шарахаться, — а потом уже под свет софитов, на всеобщее обозрение. Я понимала это и всё равно ничего не могла поделать с тем, как заколотилось сердце, когда пришла коробка.

Девять дней я прожила в его доме, как живут в дорогом отеле, из которого нельзя выпиться. Я выработала маршрут, позволявший почти не пересекаться с ним: завтракала рано, пока он плавал в бассейне; уходила в дальнюю библиотеку, когда он работал в кабинете; ужинала у себя под предлогом мигрени. Дом был достаточно велик, чтобы в нём можно было прятаться, и я пряталась — от него и, если честно, от себя, потому что каждая случайная встреча в коридоре оставляла после себя гул в крови, который я не желала признавать.

Я завела дневник — нет, не дневник, скорее список. Я всегда так делала в трудные времена: раскладывала хаос по пунктам, и от этого становилось чуть легче дышать. «Правила выживания», озаглавила я страницу. Пункт первый: помни, зачем ты здесь. Пункт второй: это работа, ты профессионал, относись к этому как к контракту. Пункт третий: не верь ничему, что он делает, у всего есть второе дно. Пункт четвёртый, подчёркнутый дважды: что бы ни вытворяло твоё тело — это не считается.

Я перечитывала четвёртый пункт чаще остальных. Он давался труднее всех. Потому что тело не умеет читать списки. Тело живёт своей жизнью, помнит своё, хочет своего — и плевать ему на пункты, подчёркнутые хоть трижды.

Я узнала о нём так, как узнавала теперь обо всём, — через ассистента и доставку. В четверг в мою комнату внесли коробки. Платье — длинное, цвета тёмного вина, шёлк, который тёк сквозь пальцы, как вода, и стоил, наверное, больше моей месячной зарплаты. Туфли. Серьги в бархатном футляре — настоящие камни, я поняла это по тому, как они ловили свет. И записка, написанная от руки, чёрными чернилами, твёрдым прямым почерком, который я узнала, хоть и не видела его семь лет.

«Сегодня в восемь. Благотворительный приём фонда «Меридиан». Будь готова к 19:30. Надень это. — М.»

«Надень это». Не «надень, пожалуйста». Не «я подумал, тебе подойдёт». Приказ. Я держала это шёлковое платье в руках и ненавидела две вещи одновременно: что он смеет мне при-

казывать — и что платье было прекрасным, именно того оттенка, который я любила, именно того фасона, который шёл мне, будто кто-то очень внимательно изучил, что мне идёт. Это было хуже всего. Не равнодушие. Внимание.

Я разложила платье на кровати и долго смотрела на него. Цвет тёмного вина — мой цвет, я всегда это знала, он подчёркивал серость глаз и тёплый оттенок кожи. Откуда он знал? Я не носила ничего подобного с тех пор, как уехала. В столице я одевалась в строгое, тёмное, безличное — броня, а не одежда. А это платье было оружием другого рода: оно не пряталось, оно сияло, оно требовало, чтобы на тебя смотрели. Надеть его означало позволить смотреть. Ему — в первую очередь.

Я провела ладонью по шёлку. Холодный, текучий, он скользнул сквозь пальцы, как вода, и по спине пробежали мурашки. «Это работа, — напомнила я себе. — Костюм для роли. Не больше». Я почти поверила.

Ровно в 19:30 я спустилась по лестнице.

Он ждал внизу, в смокинге, и я возненавидела свой собственный пульс за то, что он сбился. Чёрный смокинг сидел на нём так, будто был выкован, а не сшит. Он стоял, заложив одну руку в карман, и смотрел, как я спускаюсь, и его лицо не выражало ровным счётом ничего — а потом, на одну секунду, на половину секунды, когда я дошла до последней ступени, что-то прошло по нему. Не улыбка. Какая-то тень. Его взгляд скользнул по платью, по моим обнажённым плечам, по распущенным волосам, и потемнел, стал почти оловянно-тёмным, и он отвёл его — резко, будто обжёгся.

— Серьги надела, — сказал он. Голос вышел чуть ниже обычного.

— Ты приказал.

— Я предложил.

— Ты написал «надень это».

Уголок его рта дёрнулся.

— Поедем, — сказал он, не вступая в спор. — Опаздывать нельзя. Все будут смотреть.

В машине он вручил мне маленькую коробочку. Внутри лежало кольцо. Помолвочное. Один крупный камень, холодный и чистый, в платине. Я смотрела на него и не двигалась.

— Надень, — сказал он. И, помолчав, с едва заметной насмешкой над самим собой: — Пожалуйста.

Я надела. Кольцо село идеально — конечно, идеально, он же всё рассчитал, — и было тяжёлым и чужим на пальце, и я вдруг вспомнила, как в нервные минуты всегда кручу несуществующее кольцо, и поняла, что теперь оно есть, и что это какая-то особенно жестокая ирония.

— Правила на сегодня, — сказал он, глядя в окно, на проплывающие огни. — Ты познакомилась со мной полгода назад, в Вене, на конференции. Я был очарован. Ты сопротивлялась. — Лёгкая, холодная усмешка. — Я настоял. Мы помолвлены два месяца. Свадьба следующей осенью. Ты сияешь от счастья.

— А почему именно Вена? — спросила я, чтобы хоть как-то вернуть себе ощущение контроля.

Он повернул голову и посмотрел на меня. И в полумраке салона, в свете встречных фар, его глаза на мгновение были не оловянными, а почти живыми.

— Потому что в Каменноборск никто не поверит, — сказал он тихо. — Никто не поверит, что человек вроде меня встретил кого-то вроде тебя в таком городе. — Пауза. — А в Вене — поверят во что угодно.

Я не нашла, что ответить.

Приём проходил в особняке какого-то банка — мраморные колонны, лепнина, зимний сад под стеклянным куполом. Нас встретили на входе, у Марка приняли пальто, кто-то немедленно подплыл с поздравлениями, кто-то — с делами, и я увидела, как он на ходу меняет лицо:

не теплеет, нет, но надевает поверх обычной непроницаемости тонкий слой светской любезности, как надевают перчатки.

— Не отходи от меня, — сказал он мне тихо, едва шевельнув губами, пока мы шли через холл. — И, что бы ни говорили, улыбайся. Здесь все улыбаются. Это хищники, которые научились показывать зубы так, будто это вежливость.

— Знакомая порода, — отозвалась я так же тихо. — Я как раз с одним таким помолвлена. Уголок его рта дрогнул — почти улыбка, настоящая, против воли, — и тут же исчез.

Приём был ослепительным. Свет хрустальных люстр дробился в бокалах, играл струнный квартет, по залу плыли люди, которые стояли, наверное, как небольшое государство. И в ту секунду, как мы вошли, я почувствовала это — десятки взглядов, повернувшихся к нам разом. К нему. К человеку, которого здесь явно боялись и которому явно завидовали. А потом — ко мне. К женщине под руку с ним.

И что-то во мне включилось. Профессиональное, отточенное, спасительное. Если уж играть — то играть так, чтобы выиграть.

Я улыбнулась — той самой тёплой, светлой, безупречной улыбкой. Я положила ладонь ему на грудь, прижалась к плечу, засмеялась его несуществующей шутке, посмотрела на него снизу вверх взглядом женщины, влюблённой по уши. Я почувствовала, как он на мгновение напрягся под моей ладонью — будто не ожидал, — а потом подхватил игру: его рука легла мне на поясницу, тёплая, тяжёлая, и притянула меня чуть ближе.

К нам подходили один за другим. Седой мужчина с цепким взглядом — какой-то банкир, Марк представил его, я тут же забыла фамилию. Его жена в бриллиантах, оглядевшая меня с головы до ног с улыбкой, под которой пряталась оценочная ведомость. Молодой делец, слишком громко смеявшийся над собственными шутками. Я пожимала руки, отвечала на вопросы про несуществующую Вену, изображала смущённую радость невесты — и удивлялась тому, как легко мне это даётся. Семь лет я провела на переговорах, в комнатах, полных людей, которым нельзя показывать слабинку. Эта роль оказалась всего лишь ещё одними переговорами, только ставка была не контракт, а правдоподобие.

— А как же он сделал предложение? — проворковала дама в бриллиантах, складывая руки у груди. — Расскажите, милочка, обожаю такие истории.

Я улыбнулась и, не задумываясь, посмотрела на Марка снизу вверх — взглядом женщины, которая вот-вот растает.

— О, он был ужасно old-fashioned, — пропела я. — На одно колено, всё как полагается. Я плакала. Правда, дорогой?

Я почувствовала, как он на мгновение напрягся рядом — я импровизировала, и он не знал, куда я поверну. А потом он подхватил, не моргнув глазом:

— Она не плакала. Она сказала «дай подумать» и заставила меня ждать ответа три дня. — Он посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то, от чего у меня перехватило дыхание. — Я бы прождал и тридцать лет.

Дамы заахали. А я стояла и не могла понять, играет он или на одну секунду сказал правду, и от этого незнания у меня закружилась голова.

И тут случилось то, чего я не предусмотрела.

Прикосновение обожгло. Сквозь тонкий шёлк, прямо в кожу. Его ладонь лежала у меня на спине, большая, уверенная, и от неё по всему телу разбежались мурашки, и я почувствовала его тепло, его запах, и моя собственная игра вдруг перестала быть только игрой. Сердце заколотилось не от притворства. Я смеялась гостям, говорила что-то про Вену, кивала какому-то банкиру — а всем существом ощущала только эту руку у себя на пояснице, и то, как его большой палец один раз, едва заметно, погладил ткань.

Я подняла на него глаза, чтобы испепелить взглядом, — и поймала его на том, что он смотрит на меня. Не на гостей. На меня. И в его глазах не было ни холода, ни расчёта, ни мести.

В них было что-то тёмное, голодное и совершенно незащищенное, что-то, что он тут же спрятал, отвернувшись к подошедшему гостю с дежурной фразой.

Но я успела увидеть. И он знал, что я успела.

А потом заиграл вальс, и кто-то из гостей со смехом потребовал, чтобы «помолвленные» открыли танец, и отказаться было нельзя, не разрушив легенду. Марк протянул мне руку. Я вложила в неё свою, и он вывел меня в центр зала, под прицел десятков глаз, и положил ладонь мне на талию, а другой сжал мои пальцы, и мы поплыли.

Я не танцевала вальс семь лет. Но тело помнило — а его тело вело так уверенно, что мне оставалось только довериться. Мы двигались, и зал плыл вокруг цветным размытым кольцом, и оставался только он: его рука на моей талии, твёрдая и горячая; его плечо под моей ладонью; его лицо так близко, что я видела крошечный шрам на брови и тёмные ободки вокруг светлых радужек.

— Ты дрожишь, — сказал он тихо, только для меня.

— Здесь холодно.

— Лгунья. — Это слово он произнёс почти нежно, и от этой нежности у меня всё оборвалось внутри. Его пальцы на моей талии чуть сжались. — Здесь не холодно, Алиса.

Я подняла на него глаза, чтобы ответить колкостью, отбиться, восстановить дистанцию, — и не смогла. Мы смотрели друг на друга, кружась под музыку, и на одно бесконечное мгновение между нами не было ни контракта, ни мести, ни семи лет — ничего, кроме двоих, которые когда-то любили друг друга в высокой траве за городом и так и не научились забыть.

Музыка кончилась. Зал заплодировал. Чары рассыпались, и я отступила, тяжело дыша, и заметила, что и у него дыхание сбилось.

Весь оставшийся вечер мы играли влюблённых — и я больше не понимала, где кончается игра. Каждое прикосновение било током. Каждый раз, когда он наклонялся, чтобы что-то сказать мне на ухо, и его дыхание касалось моей шеи, у меня подкашивались колени. Это было невыносимо. Это было предательством — моим собственным телом, моей собственной кожей, которая помнила его дольше и вернее, чем я хотела признать.

Под конец вечера ко мне подошла женщина — немолодая, с умными насмешливыми глазами и в неброском, но явно безумно дорогом платье. Она представилась женой какого-то партнёра Марка и, отведя меня в сторону под предлогом разговора о туфлях, вдруг сказала тихо, без всякой светской слащавости:

— Берегите себя, милая. Я знаю Воронова шесть лет. Видела его с десятком красивых женщин на руке. Но я ни разу — слышите, ни разу — не видела, чтобы он на кого-то так смотрел, как смотрит сегодня на вас. — Она пригубила шампанское. — Это либо очень большая любовь, либо очень большая беда. С такими, как он, третьего не бывает.

Я пробормотала что-то про то, что она преувеличивает, и поскорее отошла. Но её слова застряли во мне, как заноза. «Так смотрит». Я весь вечер ловила на себе его взгляд — и весь вечер убеждала себя, что это часть спектакля. А что, если посторонний человек, которому незачем мне льстить, увидел то, чего я не позволяла себе видеть?

В машине на обратном пути мы молчали. Я смотрела в окно. Он смотрел прямо перед собой. Между нами на сиденье лежали несколько сантиметров кожаной обивки, и они гудели от напряжения. Город проплывал мимо россыпью огней, потом огни кончились, и началась тёмная загородная трасса, и в темноте салона его профиль то загорался от встречных фар, то снова гас, и я смотрела на него украдкой и думала о словах той женщины.

У дверей дома, когда он подал мне руку, помогая выйти, я не выдержала.

— Это, — сказала я тихо, снимая кольцо с пальца и почти швыряя ему в ладонь, — было только представление. Не обольщайся.

Он сжал кольцо в кулаке. Посмотрел на меня сверху вниз, и в темноте я не видела его глаз, только чувствовала его взгляд кожей.

— Я и не ободряюсь, — сказал он. И добавил, так тихо, что я не была уверена, что расслышала: — В отличие от тебя, я знаю, что значит притворяться.

Он ушёл в дом первым. А я осталась стоять на крыльце, под холодными звёздами, прижав ладонь к тому месту на спине, где всё ещё горел след его руки, и впервые по-настоящему испугалась.

Я стояла так долго, что замёрзла. Из гостиной доносились голоса разъезжающихся гостей, смех, шум моторов на гравии — чужой, благополучный мир, в котором у всех было своё место и своя роль, и только я не знала больше, кто я и что здесь делаю. Я приехала сюда воевать за завод. Я выстроила в голове чёткий план: подписать бумаги, отыграть свою партию, продержаться год — и уйти, не оглянувшись, как умею. Я была так уверена, что броня выдержит. Что я давно не та девочка, которую он знал. Что семь лет в столице, тысячи решённых чужих проблем, выстроенная по кирпичику карьера сделали меня кем-то новым — твёрдым, холодным, неуязвимым.

А оказалось достаточно одного вальса. Одной его ладони на моей спине. Одного взгляда сверху вниз в полутёмном холле — и вся броня, которую я ковала годами, захвенела, как тонкое стекло под ногтем, готовая треснуть. Я ненавидела себя за это. Ненавидела предательскую дрожь под рёбрами, ненавидела то, как тело узнавало его раньше разума, как кожа помнила его прикосновения, хотя голова твердила: беги. Хуже всего было то, что я не могла понять, чего боюсь сильнее — что он узнает, какую власть всё ещё имеет надо мной, или что я сама себе в этом признаюсь.

Звёзды над загородным домом были те же, что над Каменноборском, — крупные, близкие, не то что тусклая столичная пыль. Когда-то, в той, другой жизни, мы лежали с ним в высокой траве и придумывали созвездиям свои имена, потому что настоящих не знали. Он называл их в честь заводских цехов, а я смеялась и переименовывала в честь книжных героев, и мы спорили, и целовались, и казалось, что вся жизнь впереди и она будет нашей. Я смотрела на эти же звёзды теперь, через семь лет, с чужого крыльца, с пустотой на пальце там, где минуту назад было его кольцо, — и понимала, что та девочка из травы всё ещё жива во мне, и сегодня вечером, кружась с ним в вальсе, она на минуту подняла голову и поверила. И вот это было опаснее любого контракта.

Не его. Себя.

«Это либо очень большая любовь, либо очень большая беда».

Я зашла в дом, поднялась к себе, сняла платье цвета тёмного вина и долго стояла под душем, пытаясь смыть с кожи память о его руке. Не смылось. Я легла, уставилась в потолок чужой спальни и достала телефон, чтобы дописать в свой список ещё один пункт. Пальцы зависли над экраном.

«Пункт пятый, — напечатала я наконец. — Никогда, ни при каких обстоятельствах, не вздумай в него влюбиться. Снова».

Я смотрела на эти слова, и где-то глубоко, в той части меня, которой я не доверяла, тихий голос сказал: «Поздно».

Я выключила телефон и закрыла глаза.

Глава 8. Марк

«Прошлое в стекле»

Я приехал на завод в понедельник, на рассвете, один.

Я не сказал об этом ни Алисе, ни Гордееву, никому. Я просто проснулся в четыре утра, как просыпался всё чаще с тех пор, как она поселилась в восточном крыле и стала разрушать тишину, которую я так старательно покупал, — и поехал. Сорок минут по пустой трассе, с включённым обогревом и выключенной музыкой, и вот он, передо мной, в сером предутреннем свете: «Корсаков-Стекло».

Я говорил себе, что еду по делу. Что владелец обязан осмотреть актив, прежде чем влить в него деньги, что это просто аудит, холодная проверка, цифры и стены. Я почти в это верил — до тех пор, пока не свернул с трассы на старую заводскую дорогу, ту самую, разбитую, с выбоинами, которые я помнил каждую, и руки сами легли на руль так, как ложились когда-то, в юности, на руль чужого мопеда. Тело помнит то, что разум давно приказал забыть. Это первое, что я понял в то утро. И далеко не последнее.

Я не спал толком уже неделю — с того вечера, как она при всех на приёме улыбнулась мне той своей вежливой, отрепетированной улыбкой, а потом, в машине, отвернулась к окну и молчала всю дорогу так, что молчание это звенело. С тех пор я просыпался в четыре, как по команде, и лежал в темноте, и слушал тишину огромного дома, в котором теперь, где-то за тремя стенами, спала она. Эта тишина больше не была моей. Я платил за неё бешеные деньги — за уединение, за стены, за охрану, за расстояние между собой и всем миром, — а она пришла и поселилась внутри неё, и теперь тишина пахла цитрусом и ванилью, и в ней слышалось чужое дыхание.

Я не был здесь много лет.

Ворота открыл заспанный охранник, не узнавший в человеке из чёрной машины того мальчишку, что когда-то таскал здесь ящики за гроши. Я кивнул ему и прошёл во двор, и под ногами захрустел тот самый гравий, и в нос ударил тот самый запах — раскалённый песок, сода, горячее стекло, — и прошедшие годы сложились, как карточный домик. Запах — самый честный из свидетелей. Его не обманешь дорогим костюмом и сорок третьим этажом. Один вдох — и ты снова тот, кем был, со всем, что нёс в себе тогда.

Цеха ещё спали, только в стекловаренном гудела печь — её не гасят никогда, она работает круглые сутки, в ней всегда живёт огонь. Я вошёл внутрь, и меня обдало жаром, и я смотрел на оранжевое жерло, в котором плавилась стеклянная масса, на капли расплавленного стекла, тянущиеся, как мёд, и вспоминал.

Есть что-то честное в стекловаренной печи. Она не умеет лгать. Брось в неё песок, соду, бой — и получишь стекло; недодержи жар — получишь муть и трещины. Всё по законам, всё по правилам, никаких сделок, никакого шантажа. Может, поэтому меня тянуло сюда мальчишкой — здесь, у печи, всё было устроено понятнее, чем дома, где отец мог приласкать вечером и избить наутро без всякой причины, и никаким жаром этого было не объяснить. Я подошёл ближе, так близко, что заслезились глаза, и смотрел в огонь, и впервые за много лет не думал ни о квартальных отчётах, ни о поглощениях, ни о людях, которых надо сломать к пятнице. Я просто стоял и грелся, как когда-то, и чувствовал себя восемнадцатилетним.

Мне было восемнадцать. Я подрабатывал здесь летом, между сменами на стройке, потому что денег не хватало никогда, потому что отец пропивал то небольшое, что я приносил домой, а потом бил меня за то, что принёс мало. Я ненавидел этот завод и любил его одновременно — потому что здесь была она.

Алиса Корсакова. Дочь хозяина. Она приходила в цех в выгоревшем сарафане, с волосами, собранными в небрежный узел, из которого вечно выбивались пряди, и приносила рабочим квас в трёхлитровых банках, и смеялась с ними, и её совершенно не интересовало, что она дочь хозяина, а они — никто. Однажды она протянула стакан кваса и мне. Посмотрела своими светло-серыми глазами с этими грустными опущенными уголками и сказала: «Ты новенький. Тебя как зовут?»

Я влюбился так, как влюбляются только в восемнадцать, — целиком, без остатка, без надежды на спасение.

Я знал про неё всё, что можно узнать издали, не смея подойти. Знал, что она грызёт колпачок ручки, когда задумается. Что у неё на левой щеке появляется ямочка, а на правой — нет. Что она терпеть не может рыбу и всегда отдаёт свою порцию заводскому коту. Что она крутит на безымянном пальце несуществующее кольцо, когда нервничает, — привычка,

оставшаяся неизвестно от чего. Я собирал эти мелочи, как нищий собирает монеты, и прятал, и пересчитывал по ночам, и был богат так, как не был богат ни разу за все годы после, когда у меня появились настоящие деньги.

То лето было лучшим в моей жизни. Мы встречались тайком — на берегу реки, в заброшенном складе за третьим цехом, в высокой траве за городом, где никто не мог нас увидеть. Склад этот стоял и сейчас, я видел его серую крышу за дальними цехами, — и мне пришлось отвести глаза, потому что в нём, на старых рогожах, пахнувших известью и пылью, я впервые узнал, что такое держать в руках всё, ради чего стоит жить. Она приходила туда после смены, в том самом выгоревшем сарафане, и от неё пахло квасом и солнцем, и я целовал её так, будто завтра конец света, и для меня это и был конец света — каждый раз, когда она уходила домой, к своей другой, настоящей жизни, в которой мне не было места.

Я знал, что нам нельзя. Я знал, кто я и кто она. Но она смотрела на меня так, будто я не сын слесаря-алкаша, а кто-то стоящий, и рядом с ней я впервые в жизни чувствовал, что, может, и правда чего-то стою.

А потом её отец узнал.

Я до сих пор помню тот вечер до мельчайшей детали. Как я пришёл к их дому — к большому дому на Заречной, — потому что хотел поступить честно, по-мужски, сказать ему в лицо, что люблю его дочь. Как он вышел на крыльцо. Как смотрел на меня — на мои стоптанные кроссовки, на мою дешёвую куртку, на моё лицо, в котором, видимо, всё было написано. И как он сказал — спокойно, даже не повышая голоса, и это было хуже крика:

«Ты кто такой, чтобы поднимать на неё глаза? Сын Вороного-пьяницы. Я тебе вот что скажу, парень. У моей дочери будет всё. Университет, будущее, нормальный человек рядом. А ты — обочина. Ты всю жизнь будешь обочиной, потому что таким, как ты, дальше обочины не пускают. И если я ещё раз увижу тебя рядом с Алисой, я тебя в порошок сотру. У меня в этом городе всё схвачено. Понял?»

Я стоял и горел. Лицо у меня пылало так, будто меня окунули в ту самую стекловаренную печь. Я помню каждое слово, помню запах сирени с их палисадника, помню, как в жёлтом окне кухни на втором этаже мелькнула тень — её мать, кажется, — и как где-то в глубине дома играло радио. Странно, что в самые страшные минуты память цепляется за такие мелочи: сирень, жёлтое окно, радио. Будто пытается уцепиться хоть за что-то, пока земля уходит из-под ног. И я не сказал ничего. Я был мальчишкой, у которого не было ни денег, ни связей, ни единого аргумента против человека, у которого «всё схвачено». Я просто развернулся и ушёл.

Через две недели Алиса исчезла. Без слова. Без записки. Уехала ночью, и больше я её не видел — до того дня, как она вошла в мой кабинет на сорок третьем этаже.

Две недели. Я цеплялся за эти две недели годами, прокручивал их так и эдак, искал в них объяснение. Что было в эти дни? Мы виделись как обычно — на берегу, в траве. Она смеялась, она целовала меня, она шептала, что мы что-нибудь придумаем. А потом — пустота. Ни звонка, ни строчки. Я приходил к складу за третьим цехом и ждал её, ночь за ночью, как пёс, которого бросили, и не мог поверить, что она не придёт. Я выпрашивал у заводских хоть слово о ней, пока кто-то не сказал, что Корсаковы отправили дочь учиться, далеко, и что назад она вряд ли вернётся. И я понял — так мне казалось, — что меня списали со счетов. Что для них я был грязью на подошве, которую стряхнули и забыли. Эта мысль формировала меня все последующие годы вернее, чем все университеты и сделки вместе взятые.

Я тогда решил, что всё понял. Что отец поговорил и с ней тоже — объяснил, кто я и кто она, — и что она согласилась. Что я был летней забавой, которую легко бросить, когда папа нахмурил брови. Эта мысль выжигала меня изнутри годами. И именно она гнала меня вперёд: я выучился, я работал на трёх работах, я грыз этот мир зубами, я поднялся из ничего — и каждую ступень я проходил с одной мыслью. Я докажу. Я вернусь. Я стану тем, кого нельзя стереть в порошок. И я заставлю их всех — её, её отца, этот город — пожалеть.

Первые годы были самыми чёрными. Общага, где зимой замерзала вода в стакане. Стройка днём, грузчиком ночью, учебники до рассвета. Я научился спать по четыре часа и не чувствовать голода, если просто не думать о нём. Я научился говорить так, чтобы люди постарше и побогаче слушали. Научился носить дешёвый костюм так, будто он дорогой, а потом — дорогой так, будто мне всё равно. Где-то на этом пути я заработал шрам на брови — в драке, о которой не люблю вспоминать, в ночь, когда был на волосок от того, чтобы стать таким же, как отец. Я не стал. Я выбрал другое. Я выбрал холод вместо ярости, расчёт вместо кулаков, и этот холод довёл меня до сорок третьего этажа.

Я построил себя из ненависти, кирпич за кирпичом. Проблема в том, что дом, построенный из ненависти, нельзя потом обставить чем-то другим. Я понял это слишком поздно.

Теперь я стоял посреди цеха, владелец всего этого, человек, которого боялись банкиры и министры, и смотрел на огонь в печи, и не чувствовал торжества, которого ждал все эти годы.

— Рано вы, — раздался голос за спиной.

Я обернулся. Старый мастер — я узнал его, он работал здесь ещё тогда, постарел, ссутулился, но руки те же, в ожогах и шрамах. Он меня, конечно, не узнал.

— Хорошее стекло варите, — сказал я.

Он подошёл, встал рядом, тоже глядя в печь, и от него пахло табаком и тем особым потом, что въедается в кожу за сорок лет у огня. Несколько секунд мы молчали вдвоём, два человека у жерла, в котором плавилось солнце.

— Варили, — поправил он горько. — Пока денег не стало. Слыхали, нас какой-то столичный воротила прибрать хочет? — Он сплюнул в сторону. — Распродаст по железке, землю под коттеджи пустит. А мы куда? Я тут сорок лет. Сын мой тут. Внук собирался.

Я молчал. В горле стоял ком, которого там быть не должно было.

— Да только, говорят, — продолжил старик, светлея лицом, — нашёлся добрый человек. Инвестор. Завод выкупает, дочка-то Корсакова вернулась, хлопочет. Бог даст, выживем. — Он перекрестился на печь, как на икону. — Дай бог тому человеку здоровья, кто б он ни был.

— А Корсакова, — сказал я, сам не зная зачем, — старшего помните?

— Самого-то? — Старик пожевал губами. — А как же. Строгий был. Крутой. Но завод держал, людям платил вовремя, не то что после. — Он покосился на меня. — Хворает он теперь, слыхали? Сердце. Дочка ради него и вернулась, из самой столицы. Хорошая девка выросла. Бывало, маленькая, бегала тут по цехам, мы ей стекляшки цветные дарили, бракованные, она их к свету подносила и хохотала. — Он улыбнулся беззубо, в прошлое. — Любил он её без памяти. Всё для неё.

Всё для неё. Я стоял и слушал, как чужой человек складывает мне портрет тех, кого я столько лет носил в себе как обвинительный приговор, — и портрет выходил не такой, какой я нарисовал. Не тиран на крыльце. Отец, который дарил дочери цветные стекляшки. И от этого внутри становилось только хуже.

«Дай бог тому человеку здоровья».

Я кивнул старику и вышел во двор, потому что больше не мог там стоять. Утро разгоралось, над рекой висел туман, и где-то кричали чайки. Я стоял посреди двора, на том самом гравии, который хрустел под ногами в той, другой жизни, и понимал, что что-то идёт не по плану.

Я приехал сюда, чтобы напиться старой злостью. Чтобы вспомнить унижение и подкормить им свою месть. А вместо этого я вспомнил, как она протянула мне стакан кваса. Как смеялась в высокой траве. И старик благословлял меня, не зная, что благословляет того самого мальчишку с обочины, который вернулся, чтобы всех сжечь.

Я думал, что знаю, как это устроено. Что у мести есть чёткая логика: тебе сделали больно — ты делаешь больно в ответ, и боль уравнивается, и наступает покой. Я строил этот расчёт годами, по нему сверял каждое решение, по нему выкупил этот завод, по нему притащил

её в свой дом и заставил подписать контракт. Всё сходилось на бумаге. Всё было идеально на бумаге.

Но никто не предупредил меня, что человек, которому ты мстишь, может оказаться не тем монстром, которого ты для себя нарисовал. Что у него будет белое от страха лицо, когда отцу станет плохо. Что он будет крутить на пальце несуществующее кольцо. Что он будет пахнуть цитрусом и ванилью и спать в трёх стенах от тебя, и от этого ты разучишься спать сам. Никто не предупредил, что мстить живому человеку — совсем не то же самое, что мстить призраку, которого ты семь лет держал в голове.

Старый мастер вышел следом, закурил у стены, кивнул мне на прощание, как кивают незнакомцу, который случайно забрёл и сейчас уедет навсегда. Он так и не узнал меня. И, может, это было к лучшему. Тот мальчишка, которого он помнил — если он его вообще помнил, — таскал ящики и смотрел на дочь хозяина так, что это видели все, кроме самой дочери хозяина. Этот мальчишка остался здесь, в этих стенах, в запахе горячего стекла. А человек, что приехал на чёрной машине, был кем-то другим. Я давно не был уверен, что он мне нравится.

Я сел в машину и долго не заводил мотор.

Мсть, оказывается, имеет вкус. И вкус у неё — горячего стекла и кваса из трёхлитровой банки. И этот вкус, впервые за все эти годы, показался мне не сладким, а просто горьким.

Я завёл наконец мотор и выехал за ворота, и заспанный охранник махнул мне рукой, и я кивнул в ответ. По трассе обратно я ехал медленно, против всех своих привычек, не разгоняясь, будто оттягивал возвращение в дом, где меня ждала она — спящая, ничего не знающая о том, где я был на рассвете и что я там понял. А понял я простую и страшную вещь, от которой до сих пор сводило зубы.

Я могу довести этот контракт до конца. Могу отнять у неё год жизни, заставить улыбаться на приёмах, играть мою невесту, спать в трёх стенах от меня и сходить с ума так же, как схожу я. Могу растянуть это на все двенадцать месяцев и под занавес уничтожить, как и планировал. Всё это в моей власти — у меня есть деньги, есть подпись на бумаге, есть холод, который довёл меня до сорок третьего этажа.

Чего у меня больше нет — так это уверенности, что я этого хочу. И именно эту мысль я вёз домой по утренней трассе, и она была тяжелее любого долга, любого актива, любой империи, которую я построил из ненависти.

Глава 9. Алиса

«Близкие комнаты»

Жить с человеком, которого ненавидишь, оказалось не похоже на войну. Война — это просто. На войне понятно, где враг. На войне у тебя есть линия фронта, есть окопы, есть ясное, чистое право ненавидеть. А мы жили в странном, выматывающем перемирии, в котором враг каждое утро сидел напротив тебя за завтраком и пил кофе чёрным, без сахара, как и семь лет назад, и от этой маленькой неизменной детали внутри что-то ныло.

Дом был огромным, и мы могли бы за весь день ни разу не столкнуться. Но мы стали кивались. Постоянно. Будто дом нарочно сводил нас в дверях, на лестнице, в библиотеке. Я выходила утром в кухню — он уже там, читает что-то с планшета, в рубашке с закатанными рукавами, и его предплечья, жилистые, с проступающими венами, отвлекали меня так, что я забывала, зачем пришла. Я шла вечером за книгой — он в кресле у окна, со стаканом виски, и отблеск огня из камина лежал на его лице, делая его моложе, мягче, опаснее.

Мы почти не разговаривали. А когда разговаривали, это были короткие, колкие перестрелки, после которых я уходила к себе с колотящимся сердцем и злостью на саму себя.

— Ты переставила кофе, — сказал он однажды утром вместо «доброе утро», открыв шкаф и обнаружив там не то, что ожидал.

— Я переставила кофе, — подтвердила я, не поднимая глаз от телефона. — Он стоял рядом с чаем. Это нелогично. Чай и кофе нельзя держать вместе, они перебивают запах друг друга.

— Он стоял там три года.

— Три года он стоял неправильно.

Он смотрел на меня долгую секунду — я чувствовала этот взгляд затылком, кожей, — а потом, ни слова не говоря, достал кофе с нового места, сварил его и ушёл с чашкой к себе. И я почему-то полдня улыбалась этой дурацкой победе над банкой кофе, как будто выиграла войну, а не сражение за полку. Вот из чего складывалась наша жизнь. Из войн за полки. Из того, кто первым выйдет из комнаты. Из того, кто не отдернет руку. Мелкая, изматывающая позиционная война двух людей, которые слишком хорошо помнили, каково это — складывать оружие.

Иногда перемирие давало трещину в самых неожиданных местах. Как-то вечером я застала его на кухне у плиты — он, человек, перед которым трепетали банкиры, стоял над сковородой и хмуро смотрел на яичницу, которая упорно пригорала. «Ты её не перемешиваешь», — сказала я, не удержавшись. «Яичницу не мешают». — «Эту — надо, у тебя огонь большой». Я подошла, убавила газ, отобрала лопатку, и несколько минут мы стояли плечом к плечу у плиты, молча, и это было так обыкновенно, так по-домашнему, что у меня перехватило горло. Мы ужинали этой яичницей вдвоём, за огромным столом, в тишине, и тишина впервые была не враждебной, а просто тишиной. Я поймала себя на том, что мне хорошо. И тут же возненавидела себя за это.

Хуже всего были мелочи. То, как он, проходя мимо, иногда задерживал взгляд на мне на секунду дольше нужного. То, как однажды я уронила в библиотеке стопку книг, и он оказался рядом раньше, чем я успела наклониться, и наши руки столкнулись над упавшим томом, и он замер, и я замерла, и несколько секунд мы просто стояли так, склонившись друг к другу, и я слышала его дыхание, и он — моё, и ни один из нас не отдернул руку первым. Его пальцы лежали поверх моих — тёплые, тяжёлые, — и я смотрела на наши руки на старом переплёте и не могла шевельнуться, будто меня пригвоздили к полу. Я подняла глаза. Он смотрел не на книгу. Он смотрел на меня, и в его взгляде было что-то, чего я не видела семь лет, что-то от того, прежнего, восемнадцатилетнего, — и это длилось одно мгновение, прежде чем ставни захлопнулись. Это он отстранился. Встал, отдал мне книгу и ушёл, не сказав ни слова, а я ещё долго сидела на полу, прижимая том к груди, как идиотка. Книга, кстати, оказалась сборником стихов. Я даже не знала, что он держит в доме стихи.

Я ненавидела это. Я ненавидела, что моё тело помнило его. Что оно отзывалось на него помимо моей воли, через голову, через всю мою выстроенную ненависть. Я приказывала себе видеть в нём чудовище — человека, который купил меня, который шантажом притащил в свой дом, — и всё это было правдой, и всё равно, когда он закатывал рукава рубашки, у меня пересыхало во рту.

У меня был тот список. «Правила выживания», который я завела в первый же день в этом доме, чтобы не сойти с ума. Помни, зачем ты здесь. Это работа, относись к этому как к контракту. Не верь ничему, что он делает, у всего есть второе дно. И четвёртый, подчеркнутый дважды: что бы ни вытворяло твоё тело — это не считается. Я перечитывала их по ночам, как молитву, как заклинание против наваждения. И каждый день нарушала по меньшей мере три из четырёх.

Потому что нельзя прописать в правилах то, что делает память. Память не спрашивает разрешения. Она настигала меня в самые неподходящие моменты — от запаха его кофе, от того, как он откидывал волосы со лба, от низкой ноты в его голосе, когда он говорил по телефону на другом языке, — и швыряла на семь лет назад, в склад за третьим цехом, в высокую траву, в ту девочку, которая верила, что любовь сильнее всего на свете. Та девочка дорого

заплатила за свою веру. И всё-таки она была ещё жива во мне, эта дура, и каждый раз поднимала голову, стоило ему закатать рукава.

Дни складывались в недели. Я научилась читать этот дом, его скрипы и тени, привыкла к гулкой пустоте его комнат, к тому, что прислуга приходит днём и исчезает к вечеру, оставляя нас двоих одних в этих квадратных метрах дорогого одиночества. Я звонила маме каждый день, спрашивала про папу — ему то делалось лучше, то снова хуже, и каждый такой звонок выматывал меня дочерна. Я ездила на завод, разбиралась в бумагах, которые отец запустил, торговалась с поставщиками, успокаивала рабочих. Я делала всё, ради чего согласилась на этот контракт, ради чего продала год своей жизни. И всё это время, фоном, под всем этим, гудела одна и та же тихая нота — он. Где он, что он делает, дома ли, скоро ли вернётся. Я ненавидела эту ноту и не могла её заглушить.

В тот вечер я не могла уснуть и спустилась на кухню за водой. Было около двух ночи. Дом спал, лунный свет лежал серебряными полосами на каменном полу, и я думала, что я одна.

Я была не одна.

Он стоял у окна, спиной ко мне, в одних домашних брюках, босиком, со стаканом воды. Без рубашки. И я застыла в дверях, и сердце ухнуло куда-то вниз, и я забыла, как дышать. Лучше бы я повернулась и ушла. Я знала, что лучше бы я повернулась и ушла. Но между «знала» и «сделала» лежала пропасть, и я стояла на её краю, не в силах ни шагнуть назад, ни отвести взгляд.

Я никогда не видела его таким — за эти недели, ни разу. Днём он всегда был застёгнут наглухо: рубашка, контроль, броня. А сейчас передо мной стоял просто мужчина у тёмного окна, и в этой простоте было что-то такое незащищенное, что у меня сжалось всё внутри. Я должна была уйти. Пункт второй, пункт третий — я знала их наизусть. Я не ушла. Я стояла в дверях и смотрела, как смотрят на то, чего нельзя, и не могла оторваться.

Лунный свет очерчивал его спину, широкие плечи, длинную линию позвоночника, и я увидела то, чего не знала. Шрамы. Старые, бледные, тонкие — несколько на спине, один длинный на боку. Следы чего-то, о чём я не имела права спрашивать по правилу номер пять. И от вида этих шрамов у меня сжалось горло — не от страха, от чего-то совсем другого, от острой, неуместной нежности, которая накатила так внезапно, что я едва не охнула.

Он обернулся. Видимо, почувствовал.

Мы смотрели друг на друга через тёмную кухню, разделённые полосами лунного света. Он не потянулся за рубашкой, не отвернулся. Просто стоял и смотрел, и его лицо в темноте было нечитаемым, а глаза ловили свет и блестели серебром.

— Не спится, — сказал он. Не вопрос. Утверждение.

— Воды хотела, — мой голос вышел сиплым, чужим. — Не знала, что ты тут.

— Я тоже, — сказал он. И в этом «я тоже» было признание чего-то большего, чем просто бессонницы. Будто он тоже спустился сюда среди ночи, гонимый тем же, что гнало меня, и тоже думал, что будет один.

Я подошла к крану — другого пути не было, кран был рядом с ним, — и налила воды, остро ощущая каждый сантиметр близости, тепло, исходящее от его кожи, его запах без всяких одеколонов, просто его, тёплый, чистый, от которого подгибались колени. Я пила воду и чувствовала на себе его взгляд.

Между нами было полметра тёмного воздуха, и этот воздух будто загустел. Я слышала, как он дышит — ровно, слишком ровно, так дышат, когда заставляют себя дышать ровно. Я слышала, как капает из неплотно закрытого крана. Я слышала собственное сердце, и мне казалось, что и он его слышит, в такой стояла тишине. Лунная полоса лежала на его ключице, на впадинке у горла, и мне хотелось — отчаянно, постыдно, до дрожи в пальцах — прижаться губами именно туда, к этой впадинке, и почувствовать под губами его пульс. Я сжала стакан так, что побелели костяшки.

Семь лет, думала я. Семь лет я строила стену, кирпич за кирпичом, между собой и этим человеком. И вот хватило одной бессонной ночи, полуметра темноты и вида его обнажённой спины, чтобы стена пошла трещинами. Это было нечестно. Это было невыносимо. Это было — и я ненавидела себя за это слово — прекрасно.

— Откуда они? — спросила я, прежде чем успела себя остановить. И кивнула на его бок, на длинный бледный шрам. — Шрамы.

Что-то закрылось в его лице.

— Правило пять, — сказал он тихо.

— К чёрту правило пять, — сказала я. — Сейчас два часа ночи, и здесь нет камер, перед которыми надо играть, и нет гостей, которым надо врать. Здесь только мы. — Я сама не знала, откуда взялись эти слова, эта внезапная смелость. — Откуда у тебя шрамы на спине, Марк?

Он долго молчал. Так долго, что я решила — не ответит. А потом сказал, глядя в окно, в темноту:

— От отца. — Пауза. — Он бил, когда пил. А пил он всегда.

Я знала, что его отец пил. В городе все знали. Но я не знала этого. Я представила восемнадцатилетнего мальчишку, которого я любила, со следами ремня на спине, и мне стало физически больно, и захотелось протянуть руку и коснуться этих бледных линий, провести по ним пальцами, будто это могло что-то исправить.

Я вспомнила то лето другими глазами. Как он всегда чуть вздрагивал, если кто-то резко поднимал руку рядом, — я думала, нервный, а это было тело, которое помнило. Как он ни разу не позвал меня к себе домой, и я обижалась, дура, думала — стесняется бедности, а он просто оберегал меня от того, что там творилось. Как однажды пришёл на свидание с рассечённой губой и сказал, что упал, и я поверила, потому что хотела верить. Семнадцать лет я носила в себе его образ — гордый, дерзкий мальчишка с обочины, который смотрел на мир как на врага. И только сейчас, в два часа ночи, на тёмной кухне, я поняла, откуда взялась эта его война со всем миром. Мир бил его первым. С самого начала.

— Прости, — прошептала я. Глупое слово, бессмысленное, но другого не было.

— За что? — Он усмехнулся, коротко, без веселья. — Ты-то тут при чём.

«При чём, — подумала я. — Если бы ты знал, при чём».

— Марк, — выдохнула я. — Я не знала.

— Ты много чего не знала, — сказал он. И повернулся ко мне, и мы оказались слишком близко, непозволительно близко, и я видела, как двигается его кадык, когда он сглатывает, и крошечный шрам на брови, и тёмные ресницы. — И я тоже, как выяснилось, много чего о тебе не знал.

Воздух между нами стал плотным и горячим. Его взгляд упал на мои губы — я почувствовала это физически, как прикосновение, — и задержался. Я не дышала. Я помнила вкус этих губ. Семь лет, а тело помнило: солоноватый, тёплый, с горчинкой. Я помнила, как он целовал — не торопясь сначала, будто пробуя, а потом так, что земля уходила из-под ног. И сейчас, в полуметре от него, в лунном свете, всё это поднялось во мне разом, душной волной, и колени стали ватными, и я подумала: один шаг. Всего один шаг — и семь лет рухнут, как картонный домик. Между нами оставалось несколько сантиметров, и эти сантиметры пульсировали, и я понимала, что если сейчас не отступлю, не уйду, не разрушу это, то случится то, после чего возврата не будет.

Стакан выскользнул у меня из пальцев и со звоном разбился о каменный пол.

Мы оба вздрогнули. Чары лопнули. Я отшатнулась, бормоча извинения, наклонилась за осколками — и он наклонился тоже, и сказал «осторожно, порежешься», и его рука накрыла мою, останавливая, и в этом прикосновении было столько всего, что у меня перехватило дыхание.

— Я сам, — сказал он хрипло. — Иди спать, Алиса.

Я не двинулась. Я смотрела, как он опускается на корточки прямо там, босиком, среди осколков, и собирает их в ладонь — осторожно, по одному, — и эта картина: огромный, опасный человек, перед которым дрожат целые отрасли, бережно собирающий с пола осколки разбитого мной стакана, — почему-то была невыносимее всего остального. Невыносимее лунного света на его спине, невыносимее шрамов, невыносимее этого почти-поцелуя.

— Ты порежешься, — сказала я. — Свет хотя бы включи.

— Я в темноте хорошо вижу, — ответил он, не поднимая головы. — Привык.

И в этом коротком «привык» было столько, что у меня снова сжалось горло. Я представила, как мальчишка учится двигаться в темноте бесшумно, чтобы не разбудить, не спровоцировать, переждать. Я стояла над ним и боролась с почти непреодолимым желанием опуститься рядом, забрать осколки из его рук, прижать его голову к своей груди и не отпускать.

— Иди, — повторил он тише. И я наконец пошла.

Я ушла. Почти убежала. У себя в комнате я прислонилась спиной к двери и сползла на пол, и сидела так, в темноте, обхватив колени, и слышала, как внизу он сметает осколки — звяканье стекла о совок, ровные, спокойные движения человека, который умеет наводить порядок после того, как что-то разбилось. Я подумала, что вся наша жизнь сейчас — это уборка осколков. Что-то разбилось семь лет назад, и мы оба до сих пор ходим по этим осколкам босиком и делаем вид, что не больно.

Я открыла телефон. «Правила выживания». Перечитала их все — и дольше всего смотрела на пятый, тот, что приписала в ночь после приёма, дрожащими пальцами: «Никогда, ни при каких обстоятельствах, не вздумай в него влюбиться. Снова». Тогда тихий голос внутри ответил мне «поздно», и я выключила экран, и сделала вид, что не слышала. Сейчас, после кухни, после его шрамов, после того, как мы стояли в полуметре друг от друга и я едва не сделала тот шаг, — притворяться больше не получалось. Правило было записано. И уже нарушено. Оставалось только смотреть, как далеко зайдёт эта катастрофа.

Я погасила экран. И всю ночь лежала без сна, прижимая ладонь к груди, где колотилось сердце, и думала об одном.

А под утро, уже проваливаясь в зыбкий сон, я поняла одну вещь, от которой стало по-настоящему страшно. Я приехала сюда, ненавидя его. Я цеплялась за эту ненависть как за единственное, что держало меня на плаву. А теперь она ускользала сквозь пальцы, как тот стакан, и разбивалась, и я не знала, что встанет на её место, и это пугало меня больше всего на свете.

Глава 10. Марк

«Трещина»

Звонок раздался в начале четвёртого ночи. В тот глухой, безнадёжный час, когда не звонят с хорошими вестями. Я знал это и до того, как услышал её голос за стеной, — знал той частью себя, что всю жизнь ждала беды и научилась узнавать её по одному только тембру тишины перед ней.

Я не спал — я почти не спал в эти дни. После той ночи на кухне сон ушёл совсем. Я лежал и видел перед собой её лицо в лунном свете, когда она спросила про шрамы, и то, как она потом смотрела на меня — без брони, без обычного острого прищура, с чем-то таким, на что я столько лет не позволял себе надеяться. Я сказал ей про отца. Я не говорил этого никому и никогда — ни женщинам, что были до неё, ни партнёрам, ни врачам. А ей сказал, в два часа ночи, полуголый, на тёмной кухне, потому что она спросила «к чёрту правило пять», и эти стены, которые я строил годами, вдруг оказались из песка.

Я слышал, как в восточном крыле зазвонил её телефон, приглушённо, сквозь стены, а потом — её голос, резко взлетевший, оборвавшийся. Потом торопливые шаги, хлопок двери, снова шаги — она спускалась по лестнице, быстро, спотыкаясь. Я уже стоял, уже натягивал

брюки, уже знал — не разумом, а тем животным чутьём, что просыпается, когда беда касается того, кто тебе дорог, — что случилось что-то непоправимое.

Я вышел из своей комнаты. Босиком, в чём был, не думая ни о приличиях, ни о правилах — ни о своих, ни о её. Она стояла в холле, натягивая пальто прямо на пижаму, руки тряслись так, что она не попадала в рукав, лицо белое, как мел. В свете единственной лампы она казалась совсем девочкой — той самой, из высокой травы, потерянной и испуганной, — и что-то во мне рванулось к ней раньше, чем я успел подумать.

— Что случилось, — сказал я. Не вопрос. Я уже знал, что что-то страшное.

— Папа, — выдохнула она, и голос у неё переломился. — Ему хуже. Повторный. Мама звонит, говорит, врачи... говорят, надо ехать, может не... — Она не договорила. Дёрнула молнию пальто, промахнулась, дёрнула снова. — Где ключи от машины, мне нужна машина, я не помню, где тут вызвать...

— Я отвезу.

Она вскинула на меня глаза — дикие, полные слёз, которые она ещё держала.

— Мне не нужна твоя...

— Алиса. — Я взял её за плечи. Просто взял, твёрдо, и она замолчала. — Ты не за рулём. Ты не доедешь. Я отвезу. Идём.

Под ладонями я чувствовал, как её колотит — крупная, неостановимая дрожь, какая бывает не от холода, а от ужаса. Она была меньше, чем казалась днём, когда держала спину прямо и резала меня словами. Сейчас под моими руками была не та женщина, что подписала контракт и смотрела на меня с вызовом. Под моими руками был человек, у которого умирал отец, и весь её лоск, вся защита слетели, и осталось только это — голое, дрожащее горе. И я, который вёз её к человеку, которого ненавидел столько лет, вдруг понял, что отдал бы что угодно, лишь бы убрать с её лица этот страх.

Я не помню, чтобы она соглашалась. Но через минуту мы уже мчались по пустой ночной трассе в Каменноборск, и стрелка спидометра дрожала за отметкой, которую я никогда себе не позволял, а она сидела рядом, сжавшись в комок, прижав кулак ко рту, и беззвучно плакала, глядя в темноту.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.